

# ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 67 Brisbane, Australia, July 2016



Брисбен

67

июль 2016 г.

## “The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.  
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”  
Brisbane, Australia.

## «Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.  
Выпуск - 4 раза в год.

## Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

**National Library of Australia cataloguing-in-publication data**  
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

## Index

**ISSN 1443-0266**

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

### Адрес для связи:

[tamaleevpearl@optusnet.com.au](mailto:tamaleevpearl@optusnet.com.au) или [tamaleevpearl@gmail.com](mailto:tamaleevpearl@gmail.com)

**\*Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

**Tel:** редакция - (07) 3161-49-27    mobile: 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

**Цена отдельного номера** - \$ 6 плюс \$ 2.10 пересылка по Австралии и упаковка.

**Стоимость годовой подписки** (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ 35.00

# Троицино утро



Здесь, где зорьки соцветье раскроется,  
И засветятся россыпи рос.  
Не грешно заблудиться мне в Троицу  
Среди трёх раскрасавиц берёз.

Мельтешат, как видения смутные.  
Все дороги мои и года.  
Где б душа не блуждала беспутная,  
Всё равно попадает сюда.

Зорька светится алым и розовым,  
Несравненен любой её цвет.  
Счастлив я в окруженье берёзовом,  
Из которого выхода нет.

Счастлив я, словно узник раскованный,  
Мне известно: в час этой зари,  
Где - то маковки рдеют церковные,  
И спешат к тем церквям звонари.

Скоро Троицы грянет заутреня,  
Разливая малиновый звон,  
В русский дух, основательный внутренний,  
Будет Троицы дух привнесён...

Средь берёз я блуждаю уверенно,  
И назад не ищу колеи,  
И меня отпускать не намерены  
Эти сёстры по вере мои.

О, моё окруженье исконное,  
Выходить из него не хочу.  
За меня, под рублёвской иконою,  
Может кто - то поставит свечу...

«Свете Тихий» **Владимир Белькович**



Вселенная пропитана стихами,  
Они летят прозрачно и легко,  
То стайкой высоко под облаками,  
Лужайками порхают мотыльками,  
То льются, как парное молоко!  
Они свирелью слышатся в долинах,  
И эхом окликаются в горах,  
Струятся в чудных трелях соловьиных,  
Шуршат средь камышей в речных низинах,  
И стынут в поцелуях на губах.

29.12.15 Москва.

Пробиралась весна между спящих ветвей  
Белокурых берёз и раскидистых клёнов,  
И молитва текла, словно чистый ручей  
Среди тронутых первою зеленью склонов.

Слава Богу за всё. За рассвет и закат,  
И за полные чаши прохладных озёр,  
За сверкающий в небе ночном звездопад,  
За дыханье весны. Слава Богу за всё.

Наливались в садах соком сладким плоды,  
Соловьиная песня лилась сладкозвучно,  
И молитва была, словно капли росы  
На цветущих лугах ранним ласковым утром.

Слава Богу за всё. За простой чёрный хлеб,  
За румяный калач и за липовый мёд,  
За уставшему путнику данный ночлег,  
За полуденный зной. Слава Богу за всё.

Аромат источала поспевшая рожь,  
Самоцветами листья светились у клёнов,  
И молитва лилась, как грибной тихий дождь  
На покрытые жёлтою краскою склоны.

Слава Богу за всё. За хороших друзей,  
За врагов, налетающих, как вороньё,  
За улыбки счастливые наших детей,  
За болезни и скорбь. Слава Богу за всё.

Рисовала зима на стекле купола,  
Прославляли Творца сонмы ангелов в Небе,  
И молитва была, как в ночи кружева  
Из пушистого белого, чистого снега.

Слава Богу за всё. За сердечный покой  
И на мокром лице капли радостных слез,  
За источник с живой благодатной водой,  
За святую Любовь. Слава Богу за всё.

10.06.2008 г. **прот. Василий Мазур.**  
г. Херсон.



Они в весеннем дуновенье ветра,  
И в мертвой погребальной тишине,  
И даже в запечатанном конверте,  
Сомнения отбросьте и поверьте:  
Они во всем, и в каждом, и во сне!  
Тревожат душу смутно мысли, чувства,  
Хоть невозможно это передать,  
Как задержать мгновения искусства,  
Иль поменять реки могучей русло,  
Иль описать, что значит благодать!

**В.К. Невярович.**



# ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОЭЗИЯ

Для чего нужна поэзия?

Об этом можно говорить много и пространно, а можно чётко и кратко. Если попробовать сделать некое обобщение, то можно, я думаю, сформулировать так.

- Для воспитания человеческих чувств - сострадания, сочувствия, милосердия, душевной доброты, умения преданно любить, дорожить семейными ценностями и дружбой. Для воспитания характера и духа патриотизма и укрепления веры в Бога, а также для формулирования неких образцов поведения героической личности или праведного человека, т.е. реального, жизненного варианта идеала. Фактически для заложения в человеке основ социально ориентированной личности, способной организовать свою маленькую или большую ячейку – крепкую семью, дружный коллектив, спаянную организацию.

Очень важно научить человека думать с малых лет не только о себе, но и о своих близких, а в перспективе - о тех, кого ему доверит судьба, и о государстве в целом. Любое развитие личности начинается с детской поэзии и песен, а в юности очень нужно авторитетное поэтическое слово, на котором можно проверить свои чувства.

- Для развития литературного языка, обкатки новых слов и даже создания удачных авторских неологизмов, испытания тех или иных лексических и грамматических норм и выбора для утверждения в языке в качестве основы более оптимального варианта из нескольких имеющихся (ведь часто одновременно бытуют более устаревшие, общепринятые на данный момент и уже зарождающиеся новые нормы - три в одном). Т.е. фактически для продолжения дела Пушкина и Даля.

Поэт не должен ограничивать себя только созданием стихотворений. Если он достаточно чуткий и грамотный человек, он способен внести свой вклад в расширение и обновление словарного состава своего языка, в привитие норм литературной речи и в то же время в фиксирование в поэтических произведениях удачных слов, спонтанно родившихся в народе. Очень часто именно будучи зафиксированы в произведениях поэзии, внедрялись в литературный язык и становились официальными новыми для него слова - бывшие диалектизмы, термины, необходимые заимствования и авторские, поэтические словообразования.

- Для обобщения мудрости и опыта многих поколений в форме кратких и выразительных поэтических афоризмов, крылатых фраз, без которых не обходится принятие ни одного важного решения ни в семье, ни в государстве. Фактически это поэтически оформленные авторские пословицы.

Общеизвестно, что то, что сказано не только удачно, но и в рифму, запоминается на лету и часто применяется. Поэтические афоризмы в виде одной или двух строк - сокровищница народной культуры, на них опирается человек в своём мужании и приобретении черт зрелой личности.

- Для внутреннего культурного и духовного развития самого автора, поскольку стихи очень часто как бы диктуются, внушаются свыше, и требуется накопить в себе достаточный багаж опыта и знаний, чтобы научиться не спешить их обнародовать, давать им отлежаться, а с течением времени не побояться посмотреть на них новыми глазами, со стороны и осторожно исправить, улучшить, не нарушая замысла.

Чем гармоничнее и образнее будет раскрыта мысль, которую нам послали не буквально, в общей форме, надеясь на наше поэтическое умение, тем удачнее мы выполним свой долг. Упирается каждый раз в то, что нам было надиктовано именно так и нельзя вмешиваться, означает лишь одно - что автор ограничен, внутренне несвободен, зажат и не способен развивать и улучшать им уловленное. Ведь внушается мысль, а не определённые слова, причём внушается не буквально, а образно. Мы лишь улавливаем в соответствии с собственным уровнем развития.

- Для отражения повседневной реальности, поскольку настоящая, талантливая проза создаётся долго и основательно, уже на обобщении опыта. Т.е. для быстрого реагирования на ситуацию литературным словом.

Далеко не всегда такие произведения потом остаются на века, хотя, безусловно, бывает и так. Но главное в них - удачно схватить суть происходящего и донести до народа без её иска-

жения. Т.е. именно здесь дело уже не в поэтической образности, красоте оборотов, правильности словоупотребления, а в умении вникнуть в суть, увидеть глубину нового явления или факта, отразить не внешнее (это может сделать и газетчик), а внутреннее, потайную пружинку или намечающуюся тенденцию. Для этого автор должен уметь не только рифмовать, но и философски мыслить.

- Для развития умения видеть мир образнее, ярче, глубже, со всех сторон, понимать его сложность и быть способным сравнивать, образовывать цепочки ассоциаций. Это то, что помогает развить мышление. (Отсюда возникновение такого явления, как целое поколение так называемых физиков-лириков.)

Наверное, найдётся ещё немало мудрых мыслей по поводу того, чем поэзия обогащает человечество, сказанных более поэтично и отражающих особенности поэзии в сравнении с другими видами литературного творчества. Я обозначила только самую суть, самое, на мой взгляд, важное в этом огромном, величественном айсберге человеческого духа и таланта, который называется Поэзия. «Айсберге», естественно, не из-за холодности и отстранённости, а из-за их одинаковой с поэзией способности выдавать за действительное только надводную часть.

На самом деле поэзия несёт с собой гораздо большее...

**Светлана Скорик,**

поэт и литературный критик (Запорожье); редактор сайта Стихи.про



*Я пишу не чернилами, как другие, - говорил Берне, - я пишу кровью своего сердца и соком моих нервов. Так и только так должен писать каждый писатель.*

*Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки.*

(Д.И.Писарев)

## Есть глаза у цветов

С целым миром спорить я готов,  
Я готов поклониться головою  
В том, что есть глаза у всех цветов,  
И они глядят на нас с тобою.  
Помню как-то я в былые дни  
Рвал цветы для милой на поляне,  
И глядели на меня они,  
Как бы говоря: "Она обманет".

Я напрасно ждал, и звал я зря,  
Бросил я цветы, они лежали,  
Как бы глядя вдаль и говоря:  
"Не виновны мы в твоей печали".  
В час раздумий наших и тревог,  
В горький час беды и неудачи  
Видел я: цветы, как люди плачут,  
И росу роняют на песок.

Мы уходим, и в прощальный час  
Провожая из родного края,  
Разные цветы глядят на нас,  
Нам вослед головками кивая.  
Осенью, когда сады грустны,  
Листья на ветвях желты и гладки,  
Вспоминая дни своей весны,  
Глядя вдаль цветы грустят на грядке.

Кто не верит, всех зову я в сад,  
Видите, моргая еле-еле,  
На людей доверчиво глядят  
Все цветы, как дети в колыбели.  
В душу нам глядят цветы земли,  
Добрый взглядом всех кто с нами рядом.  
Или же потусторонним взглядом  
Всех друзей, что навсегда ушли.

**Расул Гамзатов.**



С авторами это часто бывает, т.е. будучи иногда тонкими и верными критиками чужих трудов, они не знают, что думать о себе. Это я говорю про даровитых людей. Бездарные скромностью и сомнениями насчет себя не страдают и почти всегда довольны собой. И это собственное довольство и есть некоторое вознаграждение им за бездарность. (И.А. Гончаров)

# Святая сила слова. Молодёжная культурка, или Цацки-печки



Не первый год на различных отечественных телеканалах идут так называемые «молодёжные» передачи. Что же отличает их от иных, «взрослых» передач? Неужели то, что в них скабрзности с «голубым» оттенком и матерная (!) ругань - привычное дело? Когда же авторов одной из них, «Камеди клуб» (это и вовсе звучит не по-русски!), пытались усостить, то они, в своё оправдание, признались: дескать, пытались убрать из текстов - в порядке эксперимента - непристойности, да рейтинг передачи резко понизился. Как говорится, извинение хуже проступка. Что же касается другой «молодёжной» телепередачи, то название её - «Наша Раша» - вообще вне всяких комментариев. И всё слышатся, всё слышатся печальные и пророческие рубцовские строки: «Со всех сторон нагрянули они, иных времён татары и монголы...»

А это ставшее повсеместным глумление над сокровенным понятием - красота?! И модное цитирование к месту и не к месту (это куда чаще) загадочных, преисполненных надмирного смысла слов Ф.М. Достоевского о том, что «красота спасёт мир». Иллюстрацией же к пророчеству гениального писателя всё чаще предлагаются художочные «модели» (но вот только чего? неужели ж человека как образа Божия?) с заплетающимися ногами в невообразимых «туалетах» и с декоративной косметикой, больше напоминающей боевую раскраску какого-нибудь индейского племени. Как-то подумалось, а кто мог бы стать достойным партнёром, как выражаются ныне, этих неземных созданий? Как идеальный вариант - тень отца Гамлета. А что?! Идеальный, если вдуматься, супруг для дамы, не любящей, да и не умеющей, судя по всему, готовить, шить, стирать, убирать в доме, нянчиться с детьми, занятой более всего своей «неотразимой» внешностью: появляется ближе к полуночи, когда и есть-то вредно, и не только «моделям», исчезает же с криком первого петуха, когда вот-вот начнутся дневные заботы... Благодать, а не муж!

Как-то осенью, спеша по вечернему Екатеринбург на лекцию в Храм-на-Крови, заметил светящуюся ещё издали вывеску «Прелесть моя», заинтриговавшую меня. В самом деле, что бы это могло быть, подумалось тогда. Подъехав же поближе, был попросту шокирован. Это, как выяснилось, было название «салона красоты для детей» (!) Уже позднее, поделившись невесёлыми размышлениями по этому поводу с друзьями, узнал о существующих во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья детских конкурсах красоты. Фотографии полураздетых размалёванных малюток в «вечерних» нарядах, размещённые на многочисленных интернетовских сайтах, производят жуткое впечатление, не оставляя сомнения в том, кто организует и спонсирует эти «мероприятия». Мягко говоря, недоумение вызывают родители, корысти ради вовлекающие своих детей в этот «рай» для скрытых и явных педофилов. Родители - растлители, какая печальная рифма... А теперь уже и на телевидении в преддверии «Детского евривидения» появляются 11-12-летние девочки и мальчики, своим видом и исполняемыми «страстными» песнями демонстрирующие по-взрослому развязную сексуальную озабоченность. Чей это заказ, думаю, тоже ясно...

Как преступно, если вдуматься, тиражировать эталон женской красоты, исключаяющей своими параметрами материнство по определению. Да не обидятся на автора изнывающие под гнётом всевозможных диет, но ведь в языке нашем, только вслушайтесь, слово худой есть не только обозначение худосочности, но нередко негативная характеристика вообще: худое ведро, худой (нехороший, злой) человек, худо дело. Не нами это придумано, ох, не нами, но мудрыми предками русских, прочно осознававшими, что в наших северных широтах женщине со статью нынешней модели не то что родить крепыша, будущего чудо-богатыря, но и поднести ко рту вилку с куском студня за брачным столом наверняка проблемно. А уж стирка, глажка, уборка, готовка... Повстречав же старого приятеля, приятно поразившего наш глаз широтой плеч и могучим торсом, привычно восторгаемся, мол, раздобрел, брат, раздобрел. Оно и правда, ведь добрый молодец наверняка заслужил это гордое красивое имя не только потому, что в праздник готов угостить соседских сорванцов медовыми пряниками и леденцовыми петушками...

Так вот, автор этих строк, не скрою, и сам довольно долго пребывал в неведении об истинном смысле этих загадочных слов своего любимого писателя. Согласитесь, вокруг нас и в самом деле полно красот... Но какое это может иметь отношение к спасению мира?! Недоумение это счастливо разрешил Александр Исаевич Солженицын в своей Нобелевской лекции, опубликованной, помнится, в самом начале перестройки в журнале «Новый мир». В ней великий русский писатель говорил ещё и о том, что мир в конечном счёте будет спасён красотою крестного подвига Христа Спасителя. И не было, нет и не будет во всём белом свете ничего прекраснее этого божественного акта жертвенной любви к нам, грешным людям...

Недавно довелось (в который раз!) посмотреть замечательный (сейчас бы сказали - культовый) кинофильм времён моей юности «Республика ШКИД». Помните, есть там ещё такой запоминающийся колоритный герой-беспризорник по прозвищу «Мамочка». И вот, надо же, только сейчас обратил внимание на то, чего раньше почему-то не замечал. Итак, «Мамочка» на первом уроке. Входит учительница немецкого языка и, обращаясь к новичку, спрашивает, говорит ли он по-немецки, на что получает бодрый утвердительный ответ. Тогда немка (она и в самом деле немка, раньше это было обычным делом) просит его сказать что-нибудь на этом иностранном языке и слышит в ответ: «По-немецки - цацки-пецки, а по-русски - бутерброд». Вы догадались, почему этот фрагмент не привлекал моего особого внимания, а казался просто забавным? Как это ни покажется парадоксальным, но бутерброд, пришедший к нам из Германии наверняка ещё в петровские времена, уже к тому времени давно был русским словом, вполне обрусевшим, несмотря на своё довольно прозрачное происхождение. Да-да, пресловутый бутерброд, и не только для «Мамочки», но и для всех нас - до сравнительно недавнего времени - это слово из русского языка. А по-немецки, то есть не по-нашему, конечно же, цацки-пецки. У кого из нас не было в детстве хрестоматийного маршаковского перевода: «Никто не скажет же, будто я тиран и сумасброд за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд». Да, благословенные были времена... ныне же какой-нибудь подросток вас попросту может не понять. Если же додумаетесь употребить в своей речи вместо привычного бутерброда американский сэндвич - тогда совсем другое дело! Куда как наглядная ползучая «американизация» нашего общенационального языка. Вот вам и цацки-пецки...

### **«Все тосты сбудутся!»**

Какая причудливая жизнь происходила в недрах московского метро ещё совсем недавно, какие призывы подстерегали неискушённых пассажиров.

Картинка, что называется, с натуры годичной давности. Вот вы вступили на ленту эскалатора и решили расслабиться в течение той заветной минуты, что возникла, пока ваш бег по подземным лабиринтам не возобновится. Но рано радоваться! Складывается впечатление, что здесь господствует какая-то иная власть. Все разговоры о сбережении нации, о демографической катастрофе, борьбе с губительным пьянством и рекламой спиртного - всё это там, наверху. Здесь же, в подземном царстве (только чьём?!), иные законы. А потому стены тоннеля плотно облеплены зазывной рекламой водки. Каких только слов не напечатано на их призывных глянцевах площадях. Как говорится, хочешь не хочешь, но займи и выпей! Итак, вы ступили на эскалатор. Поехали! Водку с гордым античным названием «Олимп» рекламирует - кто, как вы думаете? - наша гордость, Олимпийский чемпион Николай Валуев, красующийся в элегантном костюме и не менее элегантном галстуке. А слоган «Пришло время сильных», подкреплённый фотографией кумира, наверняка призван укрепить в молодом человеке мысль о том, что эта водка есть лучшее подспорье на многотрудном пути к сияющим вершинам спортивного Олимпа. Другую же водку с романтическим названием «Вальс Бостон» рекламирует собственным портретом известный певец и врач (!) А. Розенбаум. Ну, как не выпить, когда сам доктор, что называется, прописал...

Следующее творение талантливых рекламщиков ожидает вас уже на платформе, чуть не в полстены, за считанные минуты до прибытия состава, и радует глаз красочным среднерусским пейзажем со словами: «Отдохнул, как воздуха глотнул!» В этот час в метро и в самом деле душновато. Но не обольщайтесь, это отнюдь не приглашение в загородную туристическую поездку, не реклама устройства для барбекю или спортивного снаряжения. Ну что, сами уже догадались? Правильно, это реклама водки, на сей раз её разновидности «Ржаная». А вот и крупное фото самого вождя «пузыря». Чуть поодаль в искрящемся новогоднем антураже непрерывного праздника жизни реклама водки «Путинка»: «Все тосты сбудутся!» Какой воистину замечательный способ исполнения заветных желаний. Успевай наливать! Вообще-то говоря, массированная реклама водки, название которой есть производное от фамилии недав-

него ещё президента, а ныне премьера в стране, где алкоголизм признан главным общенациональным злом, вызывает немало вопросов. И все как один печального свойства.

Вы и впрямь пригорюнились? Оглянитесь вокруг. Вот же, прямо на вас устремились в своём жизнерадостном порыве молодой привлекательный мужчина в обнимку с двумя хохочущими обворожительными спутницами. Как радостны они, как заразительно счастливы. А знаете, в чём секрет их безудержного оптимизма? Конечно же в водке «Ледокол», да ещё в словах: «Снимаю барьер общения». Как «Ледовое побоище» - это отныне не только славная веха отечественной истории, а - увы и ах - всё та же водяра. А вот на вас надвигается набранное крупным шрифтом: «Русские победы. Северный полюс». Но не ободряйтесь, это не название исторического фильма - и на сей раз это зазывная реклама всё того же напитка. Если ж душа ваша истосковалась по «гармонии с окружающим миром», то следует, не откладывая, откупорить коньяк «Чёрный аист», ибо так отныне рекламируется этот спиртной напиток. Общеизвестно, что реклама есть двигатель торговли, но неужто взрослый человек, решивший приобрести горячительный напиток, нуждается в такой плотной опеке? Как-то всегда находили, где и что купить...

Ну, что мы в самом деле всё о коньяке да о водке. Вот реклама обуви фирмы «Альба». Но что-то неприятно настораживает и здесь. Может, это оттого, что между парой женских ног, обутых в изящные сапоги, струится зловещая змея, отчего-то больше напоминающая змия... Увы, мы не ошиблись и на сей раз, только прочтите: «Философия греха». Похоже, это уточнение для тех, кто, возможно, не понял сразу, к чему здесь эта самая змея.

Но то, что довелось увидеть однажды, кажется, не имеет себе равных по цинизму. Представьте, на зазывном ярком плакате изображена бутылка зелья, «придетая» в розовое платье с легкомысленно приподнятым подолом а-ля Мерилин Монро. И подпись - «Женская водка». Ну и, как водится, слоган: «Между нами, девочками». Пока, слава Богу, водочное нашествие на метро поутихло. Но где гарантия, что оно не возобновится вновь? Если так пойдёт и дальше, то совсем не удивлюсь, если обнаружу когда-нибудь заманчивое, украшенное зазывной рекламой предложение школьникам попробовать «Детской водки»...

### Говорящий суть творящий

А между тем слово - и об этом хочется сказать особо - есть наипервейший элемент творчества. Да-да, проблема в том, что зачастую под творческим человеком мы, как правило, подразумеваем того, кто сочиняет художественную прозу, пишет стихи и живописные полотна, увлекается вокалом и архитектурой, актёрским и кузнечным ремеслом, шитьём бисером и моделированием одежды, да мало ли. А потому частенько вздыхаем украдкой, дескать, обделил нас Господь талантом: ни слуха, ни голоса, ни зоркого глаза, ни твёрдой руки. Но ведь это не так, совсем не так. Ведь каждый из нас - вне зависимости от возраста, пола и национальности - говорит, наделён от Бога даром живой речи. Впрочем, становится ли она в устах наших живой, зависит от нас самих. Вообразите, какой удивительный, воистину неповторимый творец и художник заложен в каждом, буквально в каждом из нас! Причём - и это поразительно - для творческого процесса не нужны ни резец и кисти, ни молот с наковальней, ни раскатистый бас или томное контральто, ни привлекательная внешность, ни краски и ни глина, ни даже образование... нужно попросту начать говорить. Но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Ибо именно с этого момента, с началом речи, станет очевидно: возникло ли, случилось ли творчество или же - и это, увы, всё чаще и чаще - появилась ещё одна хула на Создателя и Его словесные творения. Как же существенна разница между сотворить и натворить!

Из книги «Святая сила слова»

**В.Д. ИРЗАБЕКОВ.**



Если бы я хотел что-нибудь посоветовать начинающему писателю, я бы не смог сказать ничего конкретного - только общие слова. И это лучшее, что я бы мог сделать. Я бы сказал ему: "Не думай, не оценивай, насколько разумно то, что ты пишешь, получай удовольствие. Если тебе будет скучно со своими собственными словами, написанными на бумаге, представь, каково с ними будет читателю. Твое удовольствие абсолютно необходимо. Как только начинаешь зевать, выбрасывай все. И последний совет: не старайся выглядеть прилично. Это ключ к обманыванию себя, который эксплуатируется снова и снова. (Ричард Бах).

## Александр Лазутин - Поэзия

## Родной Карелии красоты

*Родной Карелии красоты*

Александр Михайлович Лазутин родился в 1955 г. в д. Маслозеро Карельской АССР. Окончил Петрозаводский госуниверситет в 1977 г. Работал механиком, технологом, преподавателем, снабженцем... Стихи писать стал недавно, хотя с детства увлёкся поэзией. Живёт в городе Беломорск.

Публиковался в нескольких изданиях: литературно-художественном образовательном журнале «Жемчужина» (Брисбен, Австралия); журнале «Звезда Полей» НО «Рубцовский творческий союз» (Москва); литературном журнале «Викинг» (Великий Новгород); альманахе Православного литературного объединения «Свете Тихий» (Луганск); литературно-краеведческом альманахе «Сиверко» (Беломорск). Победитель нескольких литературных конкурсов: «Золотая березка» (литобъединение Поважье), «Золотое перо Поважье» (Архангельская обл.), Международный поэтический конкурс «Звезда Полей» НО «Рубцовский творческий союз» (Москва). Награжден грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви (Луганск). Ветеран труда Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ за работу в инспекции Гостехнадзора. Издан один сборник стихов "Под зорями Сороки".



## Водопад "Кивач"

*посв. С.К.*

Родной Карелии красоты  
Границ не знают и начал.  
Бегут реки карельской воды  
И ниспадают между скал.

Паденья вод в глубины бездны  
Неописуем колорит.  
Но здесь восторги неуместны,  
Где песня вечности звучит.

Таков порядок у природы  
И в свете дня, и в час ночной...  
Поёт "Кивач", бессильны годы  
Остановить поток речной.

Корысть не впишется в живое,  
Летающих брызг небесен миг...  
Спешит прекрасное в былое  
На гладь страниц нетленных книг.

29.06.2016

Янтарная  
власть

С краешка моря заря разлилась  
Ярко окрасив поморье предел.  
Брега пленяет янтарная власть -  
Весь горизонт озарился... зардел.

Тучи над морем с былинных картин  
Смотрятся в зеркало северных вод.  
Что отразится им с моря глубин? -  
Может штормами затопленный бот...

Моря чарует янтарная власть!  
Тихо присесть бы под сосен стволы,  
В негу былинную будто ниспасть,  
В отсвет заката на склоне скалы...

22.04.2015

## Мои цветы

Стремительно уносит вечность дни,  
Готовит нас к последнему исходу...  
Но для меня горят ещё огни  
Моих цветов в любую непогоду.

Их много там, где тропы заросли,  
Где вдоль реки качает ветер ивы...  
Где полоса непаханой земли  
Под небесами те`плится тоскливо.

Мои цветы - на дремлющих полях,  
Которые сегодня одичали.  
Горят они, как свечи в алтарях  
Во дни смятений, скорби и печали.



23.02.2016



## Александр Лазутин - Поэзия

### Дожди

В тумане дремлет речки устье,  
Дожди не выплакали слёз...  
Поморский берег в грёзах грусти  
Уныл, бесцветен, безголос...

Чем удивить тебя, Поморье?  
Утешить чем? Чем обогреть?..  
Моё духовное подспорье,  
Мне о тебе нельзя не петь.

Нельзя не петь о той святыне  
На каменистом берегу,  
Что от рожденья и до ныне  
Из сердца вырвать не могу.

Где над крестом на скалах темных  
Проносит небо кучи туч,  
Там нет ни сырых, ни бездомных...  
Молитвы голос там певуч.

Мольба любви всегда напрасна,  
Коль нет в ней святости веков.  
Но показать её всем ясно  
Не хватит мудрости и слов.

Не от того ли как слепые  
Любви не можем мы найти?  
Заветы иноков былые,  
Подчас, нам тягостно блюсти.

Мы все хотим любить подспудно,  
Любя желаем пострадать...  
О как напев дается трудно!..  
Непросто в чём-то не солгать.

Дожди... В тумане побережье  
От Кемь-реки и до Сумы.  
Как будто небо ныне с брешью,  
И края нет у полутьмы.

10.05.2016

### Ветер

Беломорья ветер стужей  
И дождём подчас богат,  
Он над водами и сушей  
Впрямь не ведает преград.

С песней ветер неразлучен,  
Песня ветру - лучший друг.  
Он поёт, душе созвучен  
Заунывный долгий звук.

Знают пепельные скалы,  
Лес прибрежный, озерца  
Голос ветра-запевалы,  
Песни севера певца.

Глянь, вдали от речки устья  
Млеют в море острова,  
Будто ловят в звуках грусти  
Ветра вещие слова.

01.04.2016

### В белые ночи ладные трели

В белые ночи ладные трели  
Слышатся в сонных лесах.  
Вольные птицы дружно запели -  
Сладок восторг в голосах.

В сказочной неге чистой прохлады  
Даль поднебесья светла,  
Будто навеки мрака преграды  
Летняя ночь извела.

Облик лесов белой шалью охвачен,  
Отзвуки сердца нежны.  
Воздух для песен небесных прозрачен,  
Пташечек трели звучны.

07.06. 2016

### Мечты

Припомню детские мечты  
В короткий час раздумий,  
И мысль порхнёт от суеты  
И форменных безумий.

Услышу речи, что светлы  
И правдою бесценны,  
Где в доме - чистые полы,  
Бревенчатые стены.

Не изольют мечты хулы:  
Они - для тёплой встречи  
В селе, где мечут на столы  
Для гостя всё из пе`чи.

Мечты, мечты - лазурь небес  
Над полем и рекою...  
Они - предчувствие чудес  
В стремлении к покою.

Они - в хотении любить,  
Когда на сердце злоба.  
Они - надежды нашей нить  
С рождения до гроба.



29.02.2016



# Не читал, но...

## издавал



(жизнь Ивана Сытина)



Сытин за всю свою жизнь не прочитал ни «Войну и мир», ни «Преступление и наказание», ни «Мёртвые души». Писал неразборчивыми каракулями, почти бессвязно. Он не закончил даже одногодичную сельскую школу - бросил из-за отвращения к учёбе и к чтению книг...

Но он же заслуженно получил репутацию народного просветителя. Тиражи его изданий исчисляются миллионами экземпляров. В медвежьих углах России, благодаря ему, малоимущие крестьяне читали русских классиков, а их дети имели отличные школьные учебники и пособия. Газета «Нью-Йорк Таймс» в 1916 году назвала Сытина крупнейшим в мире издателем.

**I** В начале того века Сытин одним из первых в России завёл собственный автомобиль с личным шофером. И тем лишь подтвердил своё, данное купцами за пристрастие к иноземным техническим и управленческим новшествам прозвище «американец». А ведь родился и вырос Иван Дмитриевич в костромском селе Гнездиково, где жители мало что знали не только о технике, но и об Америке.

Часто шофёр подвозил Сытина к роскошным ресторанам, в которых за «заветными столиками», в разговоре за изысканной едой Иван Дмитриевич предпочитал заключать крупные сделки. Его сотрапезниками бывали и миллионеры, и знаменитые писатели А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Эртель, художник И.Е. Репин, адвокат и политик Ф.Н. Плевако. О Сытине они отзывались как об остроумном и находчивом собеседнике, радушном, гостеприимном купце. Антон Павлович Чехов, например, советовал своему брату Александру, писателю, обращаться к этому издателю с деловыми предложениями только в ресторанах - тогда, мол, тот особенно щедр.

Изредка шофёр привозил Сытина обедать дома. Иван Дмитриевич любил свою семью, но предпочитал строгие патриархальные порядки там. Жена его, Евдокия Ивановна, шикала на взрослых сыновей и невесток: «Тише! Сам пришел!»

Некоторое время Сытин отдыхал - ходил, заложив руки за спину, в глубокой тишине по коридорам, погруженный в свои мысли. Семья терпеливо ждала - без приглашения «самого» никто не смел даже приблизиться к столовой. Потом он садился во главе стола, сыновья, как издревле заведено, по левую руку от него, женщины и внуки - по правую. Питались просто: щи, каша с котлетами, компот или кисель. Сытин говорил скупно, задавал иногда внукам вопросы об их учёбе.

Иван Дмитриевич встречался с двумя царями и Лениным. Он не менял политических убеждений, потому что... не имел их. Политику он воспринимал как неизбежное зло, под которое предпринимателю невольно приходится подстраиваться.

Все три раза он хлопотал о развитии издательского дела. Ленин принял его с виду гораздо радушнее, чем цари: обласкал, обнадежил всевозможными обещаниями. Увы, пользы не было.

К концу 1917 года на счетах в западных банках у Сытина лежало целое состояние. В Европе - хватило бы и ему, и детям, и внукам. Но Сытин пять лет буквально выпрашивал у большевиков возможность работать на Родине. Безуспешно. Ссылки его на разговор с Лениным приводили к тому, что власти давали Ивану Дмитриевичу очередной шанс... беспрепятственно эмигрировать.

Во времена нэпа Сытин стал даже покупать «доверие большевиков»: вкладывал в экономику СССР свои доллары. Кончилось это тем, что он умер в 1934 году не просто в забвении, но и в бедности. Загадочная русская душа...

**II** Представители очень важной для этого рассказа профессии сейчас называются дилерами, торговыми агентами, распространителями газет, консервов, всякой всячины. Раньше же на Руси они именовались офенями.

Непременным спутником каждого офени был короб - своеобразный крошечный универсальный магазин. Лубочные картины там соседствовали с тонкими книжками о Еруслане Лазаревиче, головки сыра - с нитками и иголками... В общем, туда клалось всё, что по доступной цене офеням предлагали городские купцы, и доносилось пешком или довозилось на санях и телегах до сказочных глубин России. В том числе, до костромского села Гнездиково.

Офени были, в основном, горожанами. Достававшиеся им для торговли деревни и села делались для них, что называется, своими. Там они были хорошо знакомы с крестьянами. Как в Гнездикове - с роднёй Ивана Дмитриевича.

В 1876 году на двадцатипятилетнего Сытина, приказчика в небольшой фирме московского купца Шарапова, работало свыше сотни офеней. Своих, испытанных в деле не раз. Кстати, он сам выбирал их среди работяг на ярмарках, уговаривал идти в город сметливых крестьян из деревень, где бывал по торговым делам. Он поощрял своих офеней шараповским товаром в кредит: лубками и книжонками. Он обучал новичков первоначальным азам общительности, зубоскальства и острословия, непременным атрибутам профессии.

Он мог бы найти и ещё сотни офеней, но что им предложить? Сытин только что привёз десятки тысяч картинок из подмосковного села Никольское: там раскрашивались каждую зиму изготовленные шараповскими печатниками гравюры.

В первой избе мать с тремя дочерьми трудились над сюжетом «Как мыши кота хоронили». Мать красила кота ярко-зелёным цветом, а дочери - мышей в голубую и жёлтую полоски.

- Что же вы гравюры мои портите? - накинудся было Сытин.

- Ни одного пятна нет - все твои линии обвели опрятно, - смело и весело оправдывалась мать. - Мужик зайцев настрелял, новыми лапками работаем. А смотри, краски-то какие ходовые! Вся округа, на нас глядя, такими обзавелась...

И впрямь в соседних избах, на картинках с другими сюжетами, солдаты были с голубыми носами и в жёлтых сапогах. Но делать нечего - Сытин выдал обычную оплату, по 25 копеек за тысячу «раскрасок».

Офеней пришлось сразу вести в баню, а потом выставлять и хорошее угощение. Они было размягчились, но вскоре одумались и принялись сбивать цену. Опять - баня и угощение. «Ладно, Иван, люди мы свои, - сдались офени, - к Пасхе котов твоих разберут: старые-то лубки закоптыются за зиму. А стены украшать надо»...

И в это же время великолепные иллюстрации и прочнейшие, на десятилетия, книги изготавливались в России на лучшем европейском оборудовании. Но по какой цене?! Достоевский несколько лет распродавал трехтысячный тираж своего романа «Бесы» - по три рубля за томик. Крестьяне же, как хорошо знал Сытин, если и покупали книги, то не дороже, чем за три копейки.

Всё было в России: оборудование и распространители - но порознь. И была голова шараповского приказчика, о которой впоследствии Горький сказал: «Хорошая башка у Сытина, очень быстро и верно понимает он то, над чем другой подумал бы с год времени».

Сытин и сообразил, как соединить офеней с машинами, повернуть технику к миллионам простых людей. Потом, через десятилетия, Генри Форд так же соединит конвейерную систему Тейлора с конструкторскими разработками и дилерами и половину планеты обеспечит невиданными по дешевизне автомобилями. Еще позже японцы прибавят к чужеземным технологиям свое трудолюбие и почти весь мир завалят своей электроникой. Но это - потом, потом...

А Сытин гораздо раньше догадался, что основное предназначение техники - работа на массового покупателя. А значит, продукция должна быть не только лучше, но и дешевле, чем в избах села Никольское. Ещё дешевле!

1876 год можно назвать поворотным в судьбе Сытина. Весной он женился, взяв за Евдокией Ивановной, купеческой дочерью, четыре тысячи рублей приданого. Осенью присоединил к этой сумме ещё три тысячи рублей, вымоленных у Шарапова под залог всего будущего дела, и основал литографическую мастерскую. Главным богатством его стал станок - примитивный, для ручной работы. Но - французский! Уже это «чудо» европейской техники произвело фурор на Никольском рынке в Москве, где действовал Сытин. Качество, дешевизна! К тому же он догадался делать лубочные картины на злободневную тему - о разразившейся только что русско-турецкой войне. Спрос превзошел все ожидания.

Уже через три месяца Сытин приобрёл второй станок, ещё через полгода - третий. Число «своих» офеней увеличивалось в геометрической прогрессии, и они требовали и требовали не только картины, но и брошюры.

Станки доставили Сытину и неприятности. На Никольском рынке орудовали, в основном, мелкие предприниматели. Развивать своё дело они не только не умели, но и не хотели: считали это, как Шарапов, грехом. На «высочку» смотрели косо, пророчили скорое разорение, прогар. А люди были, при всей своей религиозности, крутые, своенравные. Погореть пророчили не только экономически, но и буквально.

Впрочем, экономически - в первую очередь. Картины свои Сытин не брезговал копировать, никого не спросив, с иллюстрированных журналов. Не лучше дело обстояло и с брошюрами.

Тексты для «книжек» писали литературные изгои: изгнанные за провинности семинаристы, страдающие запоями иереи, чиновники... Сытин платил им крохи. А рукописи при этом брал на вес - если и перелистывал, то лишь затем, чтобы понять, какого же объема выйдет книга. Авторы всем этим ловко пользовались.

Сытин как-то признавался: «Посмотрел я рукопись, вижу: написано складно, а главное, очень уж страшно. Ну, думаю, эта книга беспрерывно пойдёт. Заплатил сочинителю пять рублей. Отпечатали мы 30 тысяч экземпляров. И что бы вы думали? Нарасхват. Приказал еще 60 тысяч отпечатать. Вдруг подходит ко мне работник и говорит:

- Что же мы наделали-то, Иван Дмитриевич?

- Что такое?

- Да ведь мы Гоголя издали, не спросившись.

И показывает «Страшную месть» Гоголя! Нашёл я «автора», молодого человека. Он - мне: - Ежели хотите, Иван Дмитриевич, я могу переделать. - Нет, - говорю, - всё-то не надо, а страниц десять переделайте, чтоб скандалу не было».

Всё это отнюдь не укрепляло репутацию издателя. А без неё - нет доступа к настоящим, крупным кредитам, и, следовательно, и дело широко не поставишь. Требовалась новая, далёкая от нравов Никольского рынка издательская и предпринимательская среда.

**III** Минуло ещё пять лет. На Сытина работали уже тысячи офеней, десятки станков и машин, несколько мастерских. У него была своя лавка, но в пределах того же рынка.

Попытки начать сотрудничество с лучшими художниками и влиятельными толстосумами он делал постоянно. Они оканчивались ничем до тех пор, пока Сытину не пришла в голову мысль купить первую отечественную печатную машину и продемонстрировать её на Всероссийской промышленно-художественной выставке в 1882 году.

Сытин оставался приписанным к крестьянскому сословию - редкость для выставки, сразу привлекавшая внимание организаторов. В церемонии открытия выставки участвовал император Александр Третий.

Организаторы подвели государя сначала к стенду с лубками, изготовленными Сытиным, а затем - к той типографской машине. В этот момент Сытин как раз печатал на ней портреты членов царской фамилии!

Это произвело благоприятное впечатление. Сытин был удостоен бронзовой медали - высшей, для крестьян, награды. Это оказалось пропуском в «большой капитализм».

Вскоре после выставки Сытину официально разрешили печатать и распространять продукцию для российских школ. Через год несколько купцов согласились основать вместе с ним товарищество на вере с крупным уставным капиталом. А в конце 1884 года в лавку Сытина пришёл сам Владимир Григорьевич Чертков - ближайший друг и сподвижник Льва Николаевича Толстого, увлекавшегося тогда идеями народного просвещения. Это вам не изгои с базара!

Чертков пояснил, что в его распоряжении есть издательство «Посредник», где мёртвым грузом лежит множество рукописей небольших книг для народа, написанных и проиллюстрированных лучшими в России литераторами и художниками. У Сытина же имеется экономическая структура для публикации и распространения: офени, мастерские.

Сытин принялся сотрудничать с необыкновенным воодушевлением. В первые же три года было продано аж 12 миллионов экземпляров изданий «Посредника». Офеням эти тонкие книги поставлялись по той же цене, что и прежние «ужасники» - по 95 копеек за сотню.

В лавку Сытина всё чаще стал захаживать и Лев Николаевич Толстой - в мужицкой одежде. Сначала офени принимали его... за конкурента и зубоскалили:

- И ты, старый, туда же - поучиться у нас захотел? Лежи уж на печи, а то в первой деревне ноги откинешь.

Вспархивали с лавок приказчики, шикали: не смейте так разговаривать с баринином! Разобравшись, офени... всего лишь меняли направление зубоскальства:

- Пишите, Лев Николаевич, книжечки пострашнее. А то ваши в деревне только большому грамотею всучишь. Там ведь и без того оголтелая скучища. Только и наживаемся на чертяках. Купят про них - на целую неделю в избах разговоров хватает...

Толстой смеялся, но и присматривался, и вскоре заподозрил неладное. Книги «Посредника» в коробах офеней соседствовали с прежними лубками «для молодых лакеев», как он выразился, с низкопробными «Ужасными колдунами», «Страшными чародеями». Что же творит издатель?

Толстой пенял Черткову - мол, напрасно вы идеализируете Сытина, он использует «Посредник» в своих корыстных интересах, для поднятия собственного престижа. Чертков оправдывался: все наши издания у нас под контролем, Сытин получает от них самую малую прибыль, в нем - «вся механическая часть нашего дела».

Чья правда? Сытин не наживался, но и в убыток себе не работал. Престиж его рос как на дрожжах, и дело развивалось: открывались фирменные магазины в столицах и губерниях, огромные типографии, начинённые первоклассным, западным оборудованием. Сытин считал себя вправе извлекать косвенную выгоду из идеализма народников и просветителей. Ведь они его дело тоже использовали - для реализации своих идей!

Толстой не принял такой логики и вскоре охладел к издателю. Но Чертков, а вместе с ним и другие работники «Посредника» сотрудничали с Сытиным ещё добрых 12 лет. Ведь второй такой структуры в России не было.

Чертков свел Сытина с Короленко, Эртелем, Суриковым, другими крупными писателями и художниками. А тут Иван Дмитриевич как раз сделал ещё один шаг - на мой взгляд, решающий и для его репутации, и для всероссийской славы. Он издал в 1887 году десятитомное собрание сочинений Пушкина неслыханным, казавшимся тогда невероятным тиражом в 100 тысяч экземпляров. И оно было стремительно распродано!

Это называли чудом, стали повторять некрасовские стихи: мол, наконец-то, народ понёс с базара не милорда глупого, а классиков. Но экономическая подоплека случившегося была несложной. Как раз в 1887 году истёк срок действия прав родственников Пушкина на гонорары от его сочинений. А именно эти гонорары, вкупе с качественными переплётами, и составляли львиную долю стоимости книг. Сытин, в отличие от других издателей, просто не стал класть себе в карман бывшие деньги родственников. Да и переплёты дорогие - ни к чему! Стоил десятитомник в шесть с лишним раз меньше, чем когда бы то ни было - всего 80 копеек.

Что такое 100 тысяч экземпляров для фирмы, у которой только народные календари расходились пятиллионными тиражами?! Капля в море! А шум на всю Россию поднялся, и эта бесплатная реклама сторицей окупилась упущенную выгоду.

Отличная голова у предпринимателя Сытина!

**IV** Уже в 90-е годы капиталы Сытина исчислялись сотнями и сотнями тысяч рублей. И все он вкладывал в расширение дела, в котором поистине не знал удержу.

В этот период - с 1890 по 1917 годы биография предпринимателя имела две особенности. Он неустанно колесил по городам и весям, по улицам Москвы, создавая и создавая ответвления основной фирмы: новые «товарищества», «общества», редакции газет и журналов. И повсюду подолгу работал как своего рода... наладчик, эдакий экономический механик. Кропотливо подбирал людей. Причём на редакторские и инженерные должности - самых образованных и известных, а на управленческие, хозяйственные - толковых, но низкого происхождения, лично ему всем обязанных. Первой группе платил оклады, нередко - самые большие в России, и предоставлял полную самостоятельность. Вторую - держал в патриархальной строгости и напряжении, заставлял искать новые рынки сбыта, торговаться до хрипоты с поставщиками, не давал покоя, пока не вымуштрует. Но затем, по заслугам, награждал частной собственностью, возводил в ранг совладельцев.

Наладив так одно направление в работе, тут же принимался за другое. Но при этом прежние ответвления не закрывал - даже лубки его фирмами распространялись вплоть до Октябрьской революции. Его издательское дело можно сравнить с тем же коробом офени: Сытин добавлял и добавлял туда всё, что жизнь подсказывала положить.

Вторая особенность биографии связана с русской поговоркой: «Дайте мне на прокорм казенного воробья - я с этого буду каждый день жареного поросенка на обед иметь». Государственные заказы тогда (как и сейчас) были самыми лакомыми кусочками.

Несколько раз Сытин пытался пробиться к ним. Тут же его начинали смешивать с грязью. Две-три газеты обязательно обвиняли Сытина во взяточничестве и мошенничестве. По доносам

и наветам возбуждались уголовные дела. Представители правительства (и прежде, со времен сотрудничества с Толстым, Сытина не жаловавшие) вдруг издавали постановления об аресте на его продукцию.

Сытин поспешно давал задний ход. Слишком разорительно было расхлёбывать заварившуюся кашу. Любимчики казны так и не впустили его в свой элитарный круг.

Зато в провинции равных Сытину не было. Орёл летает высоко, но смотрит на землю, не отрываясь. Так и Сытин замечал в глубинке всё до мелочей.

Земства устраивали всё новые и новые школы. От Сытина им - учебники, пособия, иллюстрации, специальная литература. И всё это - по доступной, неприемлемой для его конкурентов цене.

Россия беспрецедентно богатели: за полвека после отмены крепостного права её промышленность выросла в 13 раз. Стало водиться больше денег? Что ж, Сытин предложил ежедневную газету «Русское слово». Тираж ее в 1916 году превышал миллион экземпляров - сегодня завидно! «Русское слово» давало большую прибыль, чем все остальные московские газеты вместе взятые.

Угодать покупателю, неукоснительно соблюдать рыночные законы - вот, пожалуй, и все заповеди, которых Сытин как предприниматель придерживался. Причём исключительно как издатель - ни водкой, ни семечками он не торговал.

Почему миллионер Сытин после Октябрьской революции не эмигрировал? Русскую глубинку на Запад не перевезешь, а на европейского покупателя он никогда не ориентировался.

И он просил и просил работу у большевиков, национализировавших его типографии. Время от времени ему разрешали занять там должность: то мастера, то даже директора. Но он оставался самостоятельным. Однажды в счёт зарплаты (её тогда задерживали дольше, чем при Ельцине) потребовал себе типографское оборудование. Его упекли в каталажку как контрреволюционера.

Через несколько месяцев, при личном вмешательстве Ленина, выпустили. На дворе уже был нэп. Сытин снял со счета в западном банке 30 тысяч долларов и вложил в собственное «Книжное товарищество 1922 года». И стал набирать офеней...

Руководитель Госиздата - а с этой структурой обязаны были иметь дело все коммерсанты - О.Ю. Шмидт сообщил «наверх», что Сытин «гораздо больше вредит нам, чем помогает». Ивану Дмитриевичу запретили распространять даже лубочные картины социалистического содержания, не говоря уже о пользовавшихся спросом брошюрах. Государство несколько раз нагло обмануло его в расчётах, в сроках поставки бумаги. В 1923 году «Книжное товарищество» обанкротилось. Не увенчались успехом и другие попытки Сытина инвестировать в экономику СССР.

Энергия великана врезалась словно бы в стену. Было больно. Сытин стал на глазах дряхлеть, терять память. В СССР решили, что надо выполнить хотя бы некоторые из обещаний Ленина. Сытину дали пенсию в 250 рублей, выделили квартиру на Тверской.

Там он и угас в 1934 году.

**Юрий Евстифеев.**

Россия.

*Текст полностью опубликован в интернет-журнале*

*"Русская жизнь" – Ссылка <http://www.hrono.ru/text/2011/evst0711.php>*



**Что-то ветер** в поле разгулялся –  
не к добру, как видно, не к добру.  
Бор сосновый глухо расстонался,  
как былинка, гнётся на ветру.

Что-то мне сегодня всё поётся  
песня невесёлая одна.

Песня всё о вороне, что вьётся  
надо мной, раскинув два крыла.

Что-то мне сегодня так тоскливо,  
и, качая буйной головой,  
я пою и с удалью, и с силой:  
«Чёрный ворон, я не твой...»

**Э. Ковшевный** Россия.



**Я и ты** - две веры, две мольбы,  
Два отчаянья, две скорби, две борьбы,  
Два безумия, две сути, два пути,  
Что не в силах прекратить,  
постичь,  
пройти.

Две любви, две правды, две вины,  
Неба два, два солнца, две луны,  
Мы два смысла истины одной,  
Что тобой не найдена и мной.

Россия.

**Павел Грызлов.**

# Малиновая вода

(Из цикла "Записки охотника")

В начале августа жара часто стоит нестерпимая. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает "чистить охотнику шпоры", то есть идет за ним шагом, болезненно прищурил глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием "Малиновой воды". Ключ этот бьет из расщелины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я взгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный горами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семьей детьми. Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтора верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную "господскую" птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, Бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидел я впервые Степушку.

Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое "отвесное": Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных,

каким образом добыл мухоярвый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, - об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, - даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, - стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В Светлое Воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, "притулился" у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня - да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей - и все для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем питании, - умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича \*\*\*, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пирувал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

- Ну, что, Михайло Савельич, - начал я, - наловил рыбы?

- А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да голавликов штук пять...

Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

- Как ты поживаешь, Степан? - спросил я его.

- И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку, - отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

- А Митрофан здоров?

- Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

- Да плохо что-то клюет, - заговорил Туман, - жарко больно; рыба-то вся под кусты заби-лась, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, - продолжал он, обращаясь ко мне, - охотиться изволите?

- Как видишь.

- Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фуриянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

- Не знаю, какой он породы, а хорош.

- Так-с... А с собаками изволите ездить?

- Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

- Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псари как следует, в порядке, и все. Покойный граф - Царство ему небесное! - охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремя вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапелником этак изволят шелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! - прибавил он вдруг, дернув удочкой.

- А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? - спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

- Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: "Туман, - говорит, - мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?" - "Слушаю, ваше сиятельство". Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, - Господи, владыко живота моего! фейверки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Калпельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с Богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся - до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа... Барин был, как следует, барин, - продолжал старик, закинув опять удочку, - и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, - смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости Господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европе! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, - дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, - Царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... И не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! - прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

- А барин-то, я вижу, у вас был строг? - начал я после небольшого молчания.

- Тогда это было во вкусе, батюшка, - возразил старик, качнув головой.

- Теперь уж этого не делается, - заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

- Теперь, вестимо, лучше, - пробормотал он - и далеко закинул удочку.



Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее польнью, и хоть бы один колос пошевелился. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распутив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся.

- Э, Влас? - вскрикнул Туман, взглядевшись в него. - Здорово, брат. Откуда Бог принес?

- Здорово, Михайла Савельич, - проговорил мужик, подходя к нам, - издалеча.

- Где пропадал? - спросил его Туман.

- А в Москву ходил, к барину.

- Зачем?

- Просить его ходил.

- О чем просить?

- Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, - так мне одному теперь не справиться.

- Умер твой сын?

- Умер. Покойник, - прибавил мужик, помолчав, - у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк вносил.

- Да разве вы теперь на оброке?

- На оброке.

- Что ж твой барин?

- Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести; да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

- Ну, что ж, ты и пошел назад?

- И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: "Я, мол, Филиппов отец"; а он мне говорит: "А я почем знаю? Да и сын твой ничего, - говорит, - не оставил; еще у меня в долгу". Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и сжеженные его глазки наворачивалась слезинка, губы его подергивало.

- Что ж ты, теперь домой идешь?

- А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

- Да ты бы... того... - заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

- А к приказчику пойдешь? - продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

- Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри, - шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

- Что ж? Это плохо, брат Влас, - с расстановкой произнес Туман.

- А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоят, - продолжал он, утирая лицо рукавом.

- Кто ваш барин? - спросил я.

- Граф \*\*\*, Валериан Петрович.

- Сын Петра Ильича?

- Петра Ильича сын, - отвечал Туман. - Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

- Что, он здоров?

- Здоров, слава Богу, - возразил Влас. - Красный такой стал, лицо словно обложилось.

- Вот, батюшка, - продолжал Туман, обращаясь ко мне, - добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

- А почему с тягла?  
 - Девяносто пять рублей с тягла, - пробормотал Влас.  
 - Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.  
 - Да и тот, говорят, продали, - заметил мужик.  
 - Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?  
 Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...  
 Через полчаса мы разошлись.

И.С. ТУРГЕНЕВ.



## Дождь барабанил по карнизу

Дождь барабанил по карнизу,  
 Мне не давая ночью спать.  
 Тянулись думы вереницей  
 На пальцы в шелковую гладь.  
 Из невеселых нитей-мыслей  
 Я вышивала до утра  
 Простое бабье коромысло,  
 Подвесив два пустых ведра.  
 Кап-кап по капле... дождь ли, слезы,  
 Мне не по силам разделить.  
 Как наберутся – грохну оземь!  
 Соленый дождь не стану пить.

2010 г.

С. Тишкина.

Сайт "Свете Тухий"



## Женщина

### ПОД ЗОНТИКОМ

Женщина под зонтиком. Нынче непогода...  
 Отчего туманится отрешенный взгляд?  
 Чем обеспокоена? Личные невзгоды?  
 Или это дождик весенний виноват?..  
 Улыбнитесь женщине! Мельком, между прочим.  
 Посмотрите дружески, отгоняя грусть.  
 Просто так, без повода. Пусть спешите очень,  
 Пусть не в вашем вкусе, пусть не ваша, пусть!  
 Улыбнитесь женщине, не ища причины,  
 Пусть от взгляда вашего станет ей теплей.  
 Улыбнитесь женщине на правах мужчины, -  
 Вы по праву сильного улыбнитесь ей!  
 И улыбкой вашей, как лучом, отмечена,  
 Удивленно вскинется, зонтик теребя...  
 Как немного нужно ей, чтобы снова женщиной  
 Гордой и уверенной ощутить себя!

«Мой мир»

Ольга Походня



Есть три причины, по которым становятся писателем.  
 Первая: вам нужны деньги. Вторая: вы хотите сказать миру что-то важное.  
 Третья: вы не знаете, чем занять себя длинными зимними вечерами.  
 (Квентин Крисп)

## Власть Музы

Ночь. Алмазы. Муза в поднебесье  
 Перезвоны слова рассыпает... -  
 В сердце угодит - и станет песней,  
 Ландышем кивнёт в пьянящем мае.

Искры звёзд... Но вот одна упала  
 На тетрадку чистую поэта -  
 И печалью тонкой зазвучала,  
 Песня затерявшегося лета...

Ночь под властью Музы посылает  
 Радость и надежды перезвоны,  
 И они искрятся в небе стаей,  
 И глядит поэт ошеломлённый...

11-7-2016

Т.Н. Малеевская.  
Брисбен, Австралия.

# ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ



## 17. О СВЯЗАННОСТИ ЛЮДЕЙ В ДОБРЕ И ЗЛЕ

Сопротивляться злу следует, во-первых, - внутренним растворением, претворением и преображением злого *чувства*, во-вторых, - внутренне-внешним понуждением и дисциплинированием злой *воли*, в-третьих, - внешним понуждением и пресечением злого *дела*. При этом оба последние способа сопротивления должны служить первому, как низшие ступени служат высшей, не заменяя ее собою, но возводя к ней и делая ее доступной.

К признанию этого правила ведет не только верное понимание *зла и любви*, но и верное понимание человеческого *общения и совместной жизни*, ибо все люди - независимо от того, знают они об этом или не знают, желают это

го или не желают, - связаны друг с другом всеобщей взаимной связью в добре и во зле, и эта связь налагает на них известные, неотменимые взаимные обязательства и подчиняет их определенным духовным правилам.

Для того чтобы убедиться в этой всеобщей связанности, ее необходимо усмотреть как бы воочию в собственном душевно-духовном опыте.

Фактически человек устроен от природы так, что душевная и духовная жизнь его скрыта от всех остальных людей и непосредственно доступна только его собственному самочувствию и отчасти самонаблюдению: моя душа «недоступна» другим людям, а чужие души «недоступны» мне: «чужая душа потемки». Зная это и сильно переоценивая свою скрытость и недоступность, люди в большинстве своем строят свою жизнь и свое поведение на вытекающей отсюда возможности самораздвоения: одно «я» состоит из того, что я «оставляю про себя», а другое «я» состоит из того, что я перед другими «обнаруживаю». При этом они нередко воображают, что они сами знают себя «верно» и «вполне» и - что другие знают о них только то, что они не сочли нужным скрывать о себе. Этот двойной самообман нередко поддерживается и закрепляется чувством «приличия», запрещающим людям скрывать друг от друга настоящие размеры своей взаимной друг о друге осведомленности.

На самом же деле каждый человек плохо знает сам себя и всегда обнаруживает себя другим во всех своих основных свойствах и склонностях - целиком.

Человек плохо знает сам себя, во-первых, потому, что каждая человеческая душа в огромной своей части состоит из *бессознательных* («незамечаемых» или «забываемых») содержаний, способностей, влечений, склонностей и привычек, а также из *полусознательных* ощущений, настроений, ассоциаций и оттенков; только тот, кто систематически исследовал свое бессознательное и свой характер по методу произвольного ассоциирования, - может понять и измерить, насколько люди в действительности имеют ограниченное и неверное представление о самих себе. Во-вторых, человек плохо знает сам себя потому, что он очень охотно, легко и незаметно забывает о себе многое неприятное и дурное, перетолковывает все это в лучшую сторону и потому идеализирует сам себя, нравится себе и сердится, когда его якобы «несправедливо» порицают.

При таком наивном самовосприятии человек обычно и не подозревает того, что его *телесная внешность* точно выражает и верно передает его душу во *всем* ее бессознательном и сознательном составе. В действительности человек устроен так, что его тело (глаза, лицо, выражение лица, строение головы, руки, ноги, походка, манеры, жестикуляция, смех, голос, интонация и все внешние поступки) не только *укрывает* его душу, но и *обнаруживает* ее, и притом как бы с точностью хорошего зеркала. Правда, к счастью или к несчастью, люди мало знают об этом, мало обращают внимания на этот телесный шифр души и плохо умеют дешифровать его своим *сознанием*. Но *бессознательно* люди воспринимают друг друга в этом зашифрованном виде столь же цельно, сколь цельно они сами выражены в своем теле.

Дело в том, что все, живущее в человеке, существует в нем не только как психическое состояние, но и как физическое состояние, и обратно: всякое телесное состояние человека непременно имеет и душевное бытие, хотя сам он часто не знает этого и не сознает того, в чем

именно оно выражается. Человек каждым состоянием своим как бы говорит на двух языках сразу: на языке тела и на языке души. И вот, благодаря этому удвоенному бытию тело человека как бы пробалтывает то, что душа, может быть, хотела бы скрыть не только от других, но и от себя. Каждый из нас всею душою своею как бы «влит» в свое тело и целиком в нем явлен, и поэтому те, кто видят и слышат нас, - те, часто сами того не зная, испытывают в каждый данный момент *всю* нашу душу в ее основном строении. Именно поэтому люди часто «знают» друг о друге гораздо больше, чем сами сознают и чем могут выразить словами: в *бессознательном опыте* общения человек воспринимает от другого *все*, что выражает и выдает его тело о его душе, и понятно, что в *сознание* воспринявшего человека проникает сравнительно лишь очень небольшое из всего воспринятого, а остальное - воспринятое, но не осознанное - не улетучивается и не исчезает, но пребывает и живет в недоступной сознанию глубине. Когда же оно достигает сознания, то оно появляется обычно в виде смутных симпатий и антипатий, доверия и недоверия, предчувствия и подозрения, и все эти проблески знания могут быть по содержанию совершенно верными: но уловить, прояснить и обосновать их - сознание не может и не умеет. Однако такое «знание» может быть усовершенствовано и доведено до настоящей прозорливости при надлежащей длительной духовной работе.

Именно в силу такой цельности и глубины бессознательного общения *ни одно доброе или злое событие в личной жизни человека не остается исключительным достоянием его изолированной души*: тысячами путей оно всегда проявляется, выражается и передается другим, и притом не только постольку, поскольку он этого хочет, но и поскольку он этого не хочет. Каждый внутренний акт злобы, ненависти, зависти, мести, презрения, лжи - неизбежно изменяет ткань и ритм душевной жизни самого человека и столь же неизбежно, хотя и незаметно, выражается через тело и передается всем окружающим и через них отголосками дальше и дальше. Эта волна порока и зла идет тем сильнее и заметнее, чем повторнее, чем глубже, чем цельнее душа предается этим состояниям, и понятно, что на лице Иуды, Ричарда Третьего, папы Александра Шестого и Малюты Скуратова всякий сознанием своим прочтет то, что незаметно скользнет по его душе при восприятии обыкновенного человека. И точно так же каждый внутренний акт доброты, любви, прощения, благоговения, искренности, молитвы и покаяния - неизбежно изменяет ткань и ритм душевной жизни и, незаметно выразившись во взгляде, в лице, в походке, незаметно передается всем остальным людям. И опять эта волна доброты, чистоты и благородства идет тем сильнее и заметнее, чем глубже душа переродилась в этих состояниях: и понятно, что на лике Макария Великого, Франциска Ассизского, Патриарха Гермогена и Оптинских старцев всякий увидит то, чего он не сумеет распознать в слабых проблесках обыденной доброты.

Вследствие такой бессознательной цельности общения и передачи - ни добро, ни зло не имеют в жизни людей «чисто личного» или «частного» характера. Всякий добрый - независимо даже от своих внешних поступков - добр не только «про себя», но и *для других*; всякий злой - даже если он злится «про себя» - зол, и вреден, и ядовит для всего человечества. То, что я ем, то я размножаю и в других душах - сознательно и бессознательно, деланием и неделанием, намеренно и ненамеренно. Человеку не дано «быть» и не «сеять», ибо он «сеет» уже одним бытием своим. Каждый, самый незаметный и невлиятельный человек создает собою и вокруг себя атмосферу того, чему предана, чем занята, чем одержима его душа. Добрый человек есть живой очаг добра и силы в добре, а злой человек есть живой очаг зла, силы во зле и слабости в добре. Люди непроизвольно облагораживают друг друга своим чисто личным благородством и столь же непроизвольно заражают друг друга, если они сами внутренне заражены порочностью и злом. Поэтому каждый отвечает не только за себя, но и за все то, что он «передал» другим, что он послал им, влил в них, чем он их заразил или обогатил, и если эта посланная им зараза заразила чью-нибудь душу, и отравила ее, и привела ее к совершению дел, то он отвечает в свою меру и за эти дела, и за последствия этих дел. Вот почему в живом общении людей каждый несет в себе всех и восходя тянет всех за собою, и падая роняет за собою всех. И потому «стояние города на десяти праведниках» - не есть пустое слово или преувеличение, но есть живой и реальный духовный факт.

Для того, кто реально усмотрит эту всеобщую живую связь - и в себе и в других, - окажется неизбежным сделать целый ряд необходимых выводов, признать целый ряд законов и правил.

Так, во-первых, отсюда выясняется с очевидностью, что зло, пребывающее в человеческих душах, сохраняет свое бытие, свою силу и свою ядовитость даже и тогда, когда оно не изливается ни в какие определенные внешние поступки: оно продолжает жить и размножаться, отрав-

ляя и душу носящую, и душу, воспринимающую его в отражении. Вот почему главная борьба со злом должна вестись внутренне, в душевно-духовном измерении, а внешние меры понуждения и пресечения никогда не смогут настичь его в его внутреннем убежище и преобразить его окаянство.

Во-вторых, необходимо признать, что всеобщая взаимная связанность людей в добре и зле не есть только социально-психологический *факт*, но что она таит в себе известное духовное задание, устанавливая для людей великую ответственность и целый ряд обязанностей. Ибо люди связаны не просто взаимодействием, но взаимодействием *в добре и зле*, взаимным благожением и взаимным погублением; взаимодействуя, они стоят перед лицом Божиим и каждый из них всегда имеет дело с теми младшими и слабейшими, к которым соблазны могут прийти именно через него.

Но если каждый из людей, неся в себе известное начало зла, отвечает и за себя и за других, то верное отношение его к этому «собственному» злу выражается не в том, что он «может» с ним бороться, «если хочет», а в том, что он при всяких условиях *обязан* с ним бороться и *не имеет права* угашать эту борьбу. Ибо, угашая ее, он вредит не «только себе», но всем: колодцы человеческих душ имеют как бы подземное (бессознательное) сообщение, и тот, кто засоряет и отравляет *свой* колодец, тот засоряет и отравляет *все* чужие. Человек, не соблюдающий духовную гигиену, есть очаг всеобщего, общественного заражения. Вот почему каждый из людей, помимо *религиозного* и *духовного* призвания к борьбе со своим злом, имеет еще *общественную* обязанность - воспитывать себя, духовно очищать свою душу, сдерживать свою злую волю, понуждать себя, принуждать себя, и, если надо, то понуждать себя к необходимому самопонижению.

Если такова обязанность человека в его отношении к своему чисто *внутреннему* злу, то понятно, что не может быть и речи о каком-нибудь «праве» его совершать злые дела. Человек, реализующий свое внутреннее зло во внешнем поступке, не только сам «грешит» или «падает», но он делает всеобщую духовную связанность людей прямым *орудием* зла и его насаждения. Позволяя своему личному злу прорваться и стать внешним поступком, он предается ему во власть, дает ему цельное бытие и сам становится общественным вулканом зла. Он как бы срывает общественную связанность с ее высшего уровня, попирает основную обязанность самообуздания и насильственно, навязчиво вторгается со своим ушедшим через край злом - в другие души и во всю общественную атмосферу. Он заставляет других реально пережить всю мерзость созревшего зла, его отвратительную душевную природу, его уродливое содержание, его жизнеразлагающий ритм, его богопротивную цель: он заставляет сильных воспринять все это, а слабых - воспринять, заразиться и, может быть, - внутренне или даже внешне - *подчиниться* ему. Этим он вызывает к жизни в других душах целую систему бессознательного воспроизведения, полусознательного подражания и ответной детонации. Он нарушает духовное равновесие у одних, искушает других, заражает третьих, гипнотически покоряет четвертых. В злом поступке всегда укрывается элемент наступления, посягательства, попрания, властности, и поэтому зло, прорвавшееся в поступке, агрессивно и властно вовлекает в него души всех людей, делая их вольными или невольными соучастниками злодея...

Ввиду всего этого бессмысленно и губительно отстаивать свободу злодеяния. Злу и так дается слишком много простора, когда ему предоставляется беспрепятственно жить внутри личной души, незаметно отравляя души ближних. Можно уверенно предвидеть, что было бы, если бы премудрые советы «непротивляющихся» были приняты и если бы было публично установлено, что никто не смеет пресекать деятельность злодеев, «не могущих» или «не желающих» удерживать свои злые вожеления и предпочитающих свободно изживать вовне все свои злые чувства, замыслы и намерения... Нет сомнения в том, что в результате этого на свете скоро остались бы одни злодеи и их запуганные рабы. Отстаивать «свободу злодеяния» могут только совсем наивные или неумные доктринеры, полагающие, что люди живут наподобие изолированных друг от друга атомов, что зло не заразительно и что злодей есть не более чем рассердившийся добряк... Напрасно также стали бы поддерживать эту точку зрения сторонники беспредельной личной свободы, полагающие, что *по убеждению* - человек вправе делать *все*, ибо «убеждения свободны» и «убежденный поступок», есть высшая самооценность в жизни. Такой формальный подход к добру и злу был бы совершенно несостоятелен, ибо добро и зло *не* суть формальные начала. Мало сказать: «я убежден»; надо иметь за своим убеждением еще и *предметные основания*. «Убежденность» может проистекать не из предметной очевидности, а из бредовой одержимости или извращенной страсти. И неужели здравый человек может серьезно полагать, что достаточно любому негодяю сослаться на свои негодяйские «убеждения», для того чтобы обеспечить

себе объективную правоту и общественную беспрепятственность? Но в таком случае надо было бы признать, что *не-негодяй, тоже убежденный* в правоте своего пресекающего вмешательства, - будет *столь же прав* и беспрепятственно свободен, если он пресекая обрушит свой меч на голову «убежденного» негодяя...

В противовес всем злодеелюбивым учениям - необходимо открыто установить, что никто из людей не имеет ни свободы внутреннего злопыхательства, ни свободы внешнего злодеяния. Здоровая, религиозно-осмысленная общественная атмосфера всегда выдвинет против злопыхательства - меры психического понуждения, побуждающие злопыхателя к внутреннему самопонууждению и ставящие его на путь исцеления; а против злодеяния - сначала меры физического понуждения и пресечения, властно останавливающие внешний размах злодея, и затем меры внутреннего, духовного воздействия. Нельзя давать злу властно насаждать себя и распространять себя внешними поступками, вторгающимися в виде дерзкого призыва и соблазна в слабые и, может быть, уже полуотравленные души. Никто не имеет права ни злодействовать, ни делать себе святыню из свободы злодея. Мало того, всякий *обязан* сопротивляться и злопыхателю, и злодею, - сопротивляться *инициативно* и действенно, - сопротивляться и внутренним усилием, и внешним поступком, - сопротивляться не в злобу и в месть, а в любовь и служение. И обязанность эта у людей - *взаимна*.

Обязанностью *взаимовоспитания* люди связаны настолько же, насколько они связаны неизбежным взаимодействием в добре и зле: ибо в творчестве добра и в борьбе со злом люди не изолированы. Правда, каждый из них имеет дело, прежде всего, со своей собственной душой, непосредственно доступной только ему, и с живущими в ней злыми влечениями и страстями: каждый имеет перед собою прежде всего свои собственные поступки, над которыми он непосредственно властен. Но в этом люди уже связаны *подобием*, которое открывает им возможность как бы перекликаться из колодца в колодец, понимать и проверять друг друга, давать друг другу советы и оказывать помощь; и в этом добровольном сознательном обмене духовными дарами, против которого не мог бы ничего возразить самый отъявленный свободолобец, процесс взаимовоспитания уже совершается и приносит свои плоды. Возражения обычно начинаются лишь с того момента, когда одна сторона, сознательно или бессознательно, уклоняясь с путей добра, выходит из этого *подобия*, утверждает свою особую, *злую* цель и не желает более участвовать в этой совместности и взаимности. Тогда обычно бывает так, что «отколовшийся во зло» начинает утверждать свою злую свободу и, умалчивая о том, что он добивается именно свободы *во зло*, он взывает к свободе *как таковой*, до тех пор пока простодушные и неумные люди, впадая в соблазн и соглашаясь с ним, не начинают отстаивать свободу *и для злодея*.

Однако люди не могут признать и никогда не признают, что злодей имеет привилегию злой свободы: ибо они связаны друг с другом не только *подобием*, но еще *взаимностью* и *общностью*.

Люди взаимно посылают друг другу свои достижения в добре и свои падения во зло: взаимно воспринимают посланное и взаимно отвечают за свои, даже и бессознательные, влияния. По существу, они призваны к тому, чтобы совсем не посылать друг другу зла и получать от других одно добро, но не к обратному. Быть на высоте этого призвания им почти не удастся. И вот некоторые из них пытаются закрепить за собою преимущественное право - посылать другим чистое зло и не принимать посылаемого им в ответ, в виде понудительного воздействия, добра. Взаимность и справедливость не терпят этой привилегии. Всякий, посылающий зло, всегда должен быть готов к тому и согласен на то, что другие сумеют пресечь его злодеяние и принудить его к качественному пересмотру посылаемого им зла. Тот, кто, получая мою злую посылку, обращает мое внимание на ее злое качество, тот не наносит мне обиду, а оказывает мне услугу, а тот, кто пресекает мое озлобленное буйство, не давая ему распространиться и понуждая меня опомниться, тот выполняет свою обязанность и становится моим благодетелем. В этом *взаимная обязанность* людей. И всякий из нас, оказывая другим эту услугу и это благодеяние, должен *желать себе* той же услуги и того же благодеяния от них. Пусть, действительно, каждый делает другим только то, чего желает себе: но при этом он должен желать и самому себе понуждения и пресечения от других в минуту своего собственного злодейства.

Однако в творчестве добра и в борьбе со злом люди связаны друг с другом не только взаимностью, но и *общностью*. Ибо у них имеется одна, единая, всем им *общая цель*, такое *общее благо*, которое - или сразу у всех будет, или сразу у всех не будет: это есть *мир на земле, расцветающий из человеческого благоволения*. Именно единство и общность этой цели заставляет людей объединять свои силы и вносить единую организацию в дело борьбы со злом. Каждый

злодей мешает *всем* остальным быть не злодеями; каждый колеблет и отравляет весь общий уровень духовного бытия. Поэтому каждый злодей, злодействуя, должен встретиться со *всеми*, объединенно сопротивляющимися ему; это сопротивление ведется *немногими* от имени *всех* и от *лица единой, общей цели*. Таков смысл всякой духовно осмысленной общественной организации. Чувство взаимной связи и взаимной ответственности, созревая, указывает людям их общую духовную *цель* и заставляет их создать единую общую *власть* для служения ей. Эта власть (церковная или государственная) утверждает в своем лице *живой орган общей священной цели*, орган добра, орган *святыни*, и потому совершает все свое служение от *ее* лица и от *ее* имени. Понуждающий и пресекающий представитель такого общественного союза делает свое дело не от себя, не по личной прихоти, не по произволу; нет, он выступает как *слуга общей святыни, призванный и обязанный* к понуждению и пресечению *от ее лица*. Он является живым органом той силы, которая составлена из всех индивидуальных, духовных сил, связанных солидарным отношением к общей святыне: эта сила есть сила *самой святыни*, а он есть *ее живое явление и ее живой меч*.

Именно благодаря тому, что духовно осмысленная общественная власть почерпает свои права из отношения к общей цели, а свою силу - из общей солидарности, воля каждого отдельного члена вливается в эту власть, признает ее добровольно и, подчиняясь ей, сохраняет свою духовную свободу. Мало того, правосознание связывает каждого с общей и единой властью в ее служении, так что каждый участвует своею волею и своею силою в ее актах, даже и в тех, в которых он сам непосредственно не выступает. И в результате этого слагается организация, в которой общий элемент единого *блага* и единой *цели* получает единого и общего *волевого двигателя*, до известной степени снимающего с единичных людей задание и бремя непосредственного понуждения и пресечения злодеев.

Благодаря такой организации каждый член союза может и должен чувствовать, что его воля и его сила участвуют в борьбе центральной власти с началом зла и его носителями. Это выражается в признании в поддержании актов этой борьбы не только за страх, но и за совесть, в сочувствии им и активном, инициативном содействии. Властвующий центр, ведя эту борьбу, нуждается в этом сочувствии и содействии и имеет право на него: мало того - побеждать в этой борьбе и строить совместную жизнь ради общей цели он может только тогда и лишь постольку, поскольку общественное мнение (и в его распыленном, и в его сосредоточенном состоянии) поддерживает его своим сочувствием и содействием. Власть и народ должны быть согласны в понимании зла и добра и солидарны в волевом отвержении зла; вне этого обе стороны идут навстречу гибели. Эта гибель и наступает, если одна из сторон изменяет общей цели или ее верному пониманию: если власть начинает *потакать* злодеям или если народ начинает их *укрывать*. Тогда общественно-организованное сопротивление злу прекращается, уступая свое место более или менее *злонамеренному непротивлению*; и в результате победа зла оказывается обеспеченной.

Приятие власти и ее борьбы со злом выражается не только в том, что индивидуум за совесть помогает ей бороться со злодеяниями *других людей*, но и в том, что он сам добровольно приемлет понуждение и пресечение, когда оно обращается против *него самого*. Этот вывод естествен и необходим: ибо к нему ведет закон взаимности и общности. Тот, кто приемлет общую цель и общий орган, тот приемлет и его верное действие, независимо от того, направлено оно на других или лично на него. При наличности зрелого правосознания человек участвует своею волею в актах своей власти и тогда, когда *он сам оказывается понуждаемым и пресекаемым, наказуемым или даже казнимым*. Справедливое понуждение он воспринимает тогда как *самопонуждение*, осуществляемое социально выделившеюся и уполномоченною духовною волею справедливое наказание он воспринимает как заслуженное самонаказание. И даже несправедливый приговор к смерти он может пережить в порядке добровольного приятия, подобно Сократу и великому множеству христианских мучеников.

Таковы последовательные выводы из всеобщей взаимной связанности людей в добре и зле.

**Иван Ильин.**



Быть счастливым не значит, что у вас все совершенно,  
это значит, что вы научились смотреть сквозь несовершенство.

# СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, всё смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел всё время заливным лугом по тропинке. У него заоченели пальцы, и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, всё сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, - все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая, пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

- Вот вам и зима пришла назад, - сказал студент, подходя к костру. - Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

- Не узнала, Бог с тобой, - сказала она. - Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее всё время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

- Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, - сказал студент, протягивая к огню руки. - Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

- Небось, была на Двенадцати Евангелиях?

- Была, - ответила Василиса.

- Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: "С Тобою я готов и в темницу, и на смерть". А Господь ему на это: "Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня". После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса, и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

- Пришли к первосвященнику, - продолжал он, - Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: "И этот был с Иисусом", то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: "Я не знаю его". Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: "И ты из них". Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: "Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?" Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас

же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: "И ишед вон, плакася горько". Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему - к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, - ему было только 22 года, - и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

А.П. ЧЕХОВ.

*Когда человеком владеет одна мысль,  
он находит её во всём.*



## Мой отчий дом...

Дом в переулке, на окнах ставенки.  
Ветер бельё во дворе полощет.  
Я в палисаднике, мальчик маленький,  
Вожусь со щенком по кличке - Тощик.

Нам хорошо: вокруг цветение.  
Мир окружающий похож на сказку  
И глупый Тощик до исступления  
Лает, рассчитывая на ласку.

Мне, несмышлёному, всё интересно:  
Вот по травинке "коровка божья"  
На самый кончик стебля залезла,  
Раскрыла крылья, взлетела в воздух.

Две стрекозы хвостами машут.  
Цветной их крылья покрыты сеткой.  
Чуть задержались над белой кашкой  
И улетели во двор к соседке.

Кузнечик прыгнул и затерялся.  
Мелькнули крылья небесным цветом.  
Залаял Тощик и заметался,  
Маша от счастья хвостом при этом.

Лежу в траве, гляжу на небо,  
Резвятся птицы под облаками.  
Как хорошо, что рядом лето,  
Что лето можно обнять руками.

\* \* \* \*

Дом в переулке, на окнах ставенки.  
Мой отчий дом. Я мальчик маленький.



1 марта 2009



Геннадий Головин. (Россия) США.

# ЗОЛОТОЕ ДНО



**I** Тишина - и запустение. Не оскудение, а запустение...

Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с однообразным топотом копыт. Вот с одного из косогоров еще раз показалась далеко на горизонте низким синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу ее. Теперь вокруг тарантаса - только пары, хлеба и лошадки с дубовым кустарником...

- Ну, что новенького, Корней? - спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.

- Новенького? - сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. - Нового у вас ничего нету.

- Значит, живете по-старому?

- Это правильно. Плохо живем...

Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку на пути к Родникам. Кажется, что еще год тому назад усадьба не была так ветха. Полы и потолки в зале еще немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряженного в водовозку, еле бредет полуслепой и глухой Антипушка, и разошедшиеся колеса водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать.

- Так плохи, говоришь, дела? - спрашиваю я сестру, которая задумчиво смотрит куда-то вдаль, на косогоры за лугами и речкой.

- Совсем, совсем плохи! - поспешно, как будто даже с удовольствием подтверждает сестра.

- Будь капитал, еще, может быть, можно было бы поправиться. Ведь земля-то сущее золотое дно. Но банк, банк!

- Зато тишина-то какая! - говорю я.

- Уж этого хоть отбавляй! - с угрюмой иронией соглашается племянник-студент. - Действительно, тишина, и прескверная, черт ее дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. - Издали - хоть картину пиши. А подойди - затхлостью понесет, ибо воды-то в нем на вершок, а тины - на две сажени, и караси все подошли... Дно-то, действительно, золотое, только до него сам черт не докопается!

**II** Дорога вьется сперва по перелескам. Потом пропадает в большом кологривовском заказе. В прежнее время она далеко обходила его; теперь ездит прямо, по двору усадьбы, раскинувшейся по бокам лесного оврага своим одичавшим садом и кирпичными службами. Как только в лес врывается громыхание бубенчиков, из усадьбы отвечает ему угрюмый лай овчарок, ведущих свой род от тех свирепых псов, что сторожили когда-то не менее свирепую и угрюмую жизнь старика Кологривова. Пока тарантас, сопровождаемый лаем, с грохотом катится по мостикам через овраги, смотрю на груды кирпичей, оставшихся от сгоревшего дома и потонувших в бурьяне, и думаю о том, что сделал бы старик Кологривов, если бы увидел нахалов, скачущих по двору его усадьбы! В детстве я слышал про него поистине ужасы. Одна из любовниц пыталась опохмелить его какими-то колдовскими травами, - он заточил ее своим судом в монастырь. Когда объявили волю, он «тронулся», как говорили, «в отделку» и с тех пор почти никогда не показывался из дому. Медленно разоряясь, он по ночам, дрожа от страха, что его убьют, сидел в шапочке с мощей угодника и громко читал заговоры, псалмы и покаянные молитвы собственного сочинения. Осенью однажды его нашли в молельной мертвым...

- Не знаешь, не продали еще? - спрашиваю я у Корнея.

- Продали, - отвечает он. - И продали то, говорят, за трынку! Живет тут приказчик от наследников, а ему что ж? Не свое добро. Без хозяина, известно, и товар - сирота. А земля тут - прямо золотое дно!

- Хороша?

- Аршин чернозему. А лес-то!

Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет березами, весело отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в зеленых чашах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами, просторно стоят столетние березы по две, по три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут, сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают пучки сочных стеблей...

- А вон и Батурино - насмешливо говорит Корней.

И я уже понимаю его.

- Что, и тут плохо?

- Да уж молодые-то уехали. А старуха дом продает. Добилась до последнего.

- А как бы заглянуть туда?

- Да скажите, что, мол, дом себе для Родников присматриваю...

**III** В Батурино - это большая деревня, но уж известно, что такое «барская» деревня! - в Батурино тихо. Скучно лоснится на солнце мелкий длинный пруд желтой глинистой водой; баба возле навозной плотины лениво бьет вальком по мокрому серому холсту... С плотины дорога поднимается в гору мимо батурино сада. Сад еще до сих пор густ и живописен, и, как на идиллическом пейзаже, стоит за ним серый большой дом под бурой, ржавой крышей. Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения! От варка остались только стены, от людской избы - раскрытый остов без окон, и всюду, к самым порогам, подступили лопухи и глухая крапива. А на «черном» крыльце стоит и в страхе глядит на меня слезящимися глазами какая-то старуха. Поняв из моих неловких объяснений, что я хочу посмотреть дом, она спешит предупредить барыню.

- Я доложу-с, доложу-с, - бормочет она, скрываясь в темных сенях.

Больно, должно быть, Батуриной выходить после таких докладов! И правда, - когда через несколько минут отворяется дверь, я вижу растерянное, старческое лицо, виноватую улыбку голубых кротких глаз... Делаем вид, что мы очень рады друг другу, что этот осмотр дома - вещь самая обыденная, и Батурина любезным жестом приглашает войти, а другой дрожащей рукой старается застегнуть ворот своей темной кофточки из дешевенького нового ситцу.

Бормоча что-то притворное, я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон, не покинувший усадьбу и донныне... Направо - дверь в его каморку, прямо - комната старух, скудно освещенная окном с двойными рамами, с радужными от старости стеклами...

- Мы ведь в пристройке-с теперь живем, - виновато поясняет Батурина. - Ведь знаете, какие года-то пошли, да и теплее тут зимою...

- Но, может быть, я беспокою вас?

Старуха трясет головой и смотрит недоумевающе и вопросительно.

- Не беспокою ли я вас? - говорю я громче. Расслышав, Батурина поспешно улыбается.

- Нет-с, нет-с, - отвечает она с ласковой снисходительностью. - Пожалуйте-с.

И отворяет дверь в коридор...

Еще мрачнее в этих пустых комнатах! Первая, в которую я заглядываю из коридора, была когда-то кабинетом, а теперь превращена в кладовую: там ларь с солью, кадушка с пшеном, какие-то бутылки, позеленевшие подсвечники... В следующей, бывшей спальне, возвышается пустая и огромная, как саркофаг, кровать... И старуха отстает от меня и скрывается в кладовой, якобы чем-то озабоченная. А я медленно прохожу в большой гулкой зал, где в углах свалены книги, пыльные акварельные портреты, ножки столов... Галка вдруг срывается с криво висящего над ломберным столиком зеркала и на лету ныряет в разбитое окно... Вздвигнув от неожиданности, я отступаю к стеклянной двери на разохшийся балкон, с трудом отворяю ее и прикрываю глаза от низкого яркого солнца. Какой вечер! Как всё цветет и зеленеет, обновляясь каждую весну, как сладостно журчат в густом вишеннике, перепутанном с сиренью и шиповником, кроткие горлинки, верные друзья погибающих помещичьих гнезд!

**IV** Вечер в поле встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей.

- Дядя, дай серничка! - кричит один из мальчишек, стерегущих на парах лошадей, и, вскочив с межи, бегом догоняет тарантас.

Но Корней суров и задумчив. Он с наслаждением вытягивает мальчишку кнутом и сдержанно покрикивает на лошадей.

«О чем он думает?» - думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.

И Корней слегка повертывается на облучке и, следя задумчивым взглядом за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...

- Всем не мед, - говорит он. - Не одним господам... Хрестьянский банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживешь. Купят мужики сто-двести десятин, - конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются, и норвят слопать друг друга. А пойдут свары - дело и совсем изгадится, и хоть на перемет с обрывком лезь!

- Однако, - говорю я, - крупных-то господ осталось три-четыре на уезд - значит, расходится земля по народу.

- По городским купчишкам да лавошникам, - поправляет Корней. - По ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остается: им ведь только бы купить, благо дешево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!

- Следовало бы?

Но Корней отводит глаза в сторону.

- Попойте пора, - говорит он деловым тоном.

- На Воргле попоим.

- Ну, на Воргле, так на Воргле... Эй, не рано!

Свежеет, и блеск вечера меркнет. Меланхолично засинели поля, далеко-далеко на горизонте уходит за черту земли огромным мутно-малиновым шаром солнце. И что-то старорусское есть в этой печальной картине, в этой синеющей дали с мутно-малиновым щитом. Вот он еще более потускнел, вот от него остался только сегмент, потом - дрожащая огневая полоска... Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в лужках уже - холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью, - только изредка повеваает откуда-то теплом. В сумраке мелькают придорожные лозинки, и на них, нахохлившись, спят вороны... А на востоке медленно показывается большая голова бледного месяца.

Как печальны кажутся в это время темные деревушки, мертвую тишину которых будит звук рессор и бубенчиков! Как глуха и пустынна кажется старая большая дорога, давно забытая и неезженная! Слава Богу, хоть месяц всходит! Все веселее...

**V** Воргол - нежилой хутор покойной тетки, степная деревушка на месте снесенной дедовской усадьбы и большого села, три четверти которого ушло в Сибирь, на новые места. Дорога долго идет под изволок; когда уже становится совсем светло от месяца, тарантас шибко подкатывает по густой росистой траве к одинокому флигелю на скате котловины среди косогор. Звон бубенчиков замирает, и нас охватывает гробовое молчание.

- Уж и глухо же тут! - говорит Корней, слезая с козел, и голос его странно звучит возле пустых стен. - Посидите тут на крылечке, а я лошадей попою и овсеца им кину.

И медленно отводит громыхающих бубенчиками лошадей под гору к колодцу. А я поднимаюсь на деревянное крыльцо флигеля и сажусь на ступеньку...

Но жутко здесь, в этой котловине, со всех сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно освещенной неверным месячным светом! Пустой широкий двор переходит в мужицкий выгон, а за выгоном чернеет семь приземистых избушек, глубоко затаивших в себя свою ночную жизнь...

- Корней, - говорю я, как только Корней показывается с лошадьми из-под горы, - надо ехать! Поедем шажком, а уж покормим дома.

Корней останавливается.

- Ай соскучились?

- Соскучился. Ну его к черту... Едем.

- Это еще милость, - говорит Корней насмешливо. - Вы бы осенью али зимой заехали!

- И как вы только живете тут!

Корней завертывает сигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

- Живем пока...

- То есть как «пока»? А потом-то что ж?

- Потом - что Бог даст. Все что-нибудь да будет...



- Что же?  
 - Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...  
 - А как?  
 При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает брови и отводит глаза в сторону.  
 - Как иначе-то?  
 - Там видно будет, - отвечает Корней уже совсем хмуро. - Поедемте, барин, не рано!  
 И молча лезет на козлы.

1903

Иван БУНИН.

*Больше всех говорит тот,  
 кому нечего сказать.*  
 (Л.Н.Толстой)



## Троица

От Пасхальной ночи - День Пятидесятый,  
 Именуем днём мы, Троицы Святой.  
 Радуйтесь, ликуйте, что Воскрес Распятый,  
 Даровав Завет Свой – Новый и простой.

Всё в России милой набирает силу.  
 Ароматом нежным воздух напоён.  
 В светлых храмах служба, Господи помилуй.  
 Благодатью Божьей, дух наш просвещен.

«Свете Тихий» **Albina Yanko**

## Июль

Мне в июльскую полночь не спится.  
 Дрёма в летнюю пору слаба.  
 В тёмном небе сверкают зарницы,  
 Помогая окрепнуть хлебам.

И хлеба не спеша вызревают,  
 Словно мирного неба гонцы.  
 Развесёлую песнь запевая,  
 Выйдут в поле на зорьке жнецы.

В колыпании хлебного моря  
 Слышно им: "Поспевай! Поспевай!  
 Не поспеешь, так вольному воля.  
 А поспеешь ко времени - Рай!"

Дождь окатный пройдёт стороною,  
 Не задев васильковую цветь.  
 Ладно здесь, в удалом непокое,  
 В жаркой жатве, душою созреть.

Так сверкайте, сверкайте, зарницы!  
 Вам Господь заповедал сверкать!  
 Хорошо, что мне нынче не спится.  
 Разве можно такое проспать!

«Свете Тихий» **Алексей Гушан.**

## память Память

Ты в памяти моей остался молод,  
 Поскольку оборвался жизни путь.  
 И в летнюю жару, и в зимний холод,  
 Мне память шепчет тихо: "Не забудь."

Как в шелесте листвы звучит порою  
 Прощальная симфония добра.  
 Когда-то в детстве, мы росли с тобою,  
 Играли в прятки, будто-бы вчера...

Росли цветы у бабушки на грядке,  
 Плодовые деревья во дворе.  
 Жизнь улыбалась, было все в порядке.  
 Как было весело всей нашей детворе.

Вот бабушка еще жива - здорова  
 Зовет к обеду. Сколько же любви!  
 И сердце трепетно и нежно бьется снова:  
 "Прости, бабулечка, и братик мой, прости."

За то, что раньше думала навечно,  
 Левада наша, детство, старый двор,  
 А счастье не бывает бесконечным.  
 Скучаю я за вами до сих пор.

Всех слов любви сказать я не успела.  
 Вниманье выразить, увы не довелось.  
 Тогда не знала, думать не хотела,  
 Что каждый просто в этой жизни гость.

И вы ушли, уже ведь погостили.  
 Лишь память лица бережно хранит.  
 Спасибо, что когда-то с нами были.  
 А где-то в тайниках души звучит,

Сердечная молитва, тихой песней  
 О Царствии Небесном. В добрый час.  
 Что может душам вашим быть полезней?  
 Что можно сделать светлого для вас?

5.02.13. **Ирина Журавлева.**  
 «Свете Тихий»

*Бывает, просто молчишь,  
 а тебя уже  
 неправильно поняли.*



# СКРИПКА РОТШИЛЬДА



Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвеевичем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то - Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшой старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

- Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жидовский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его в оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого - плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильд; он начинал придираться, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

- Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник - тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь в городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках дожимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго шелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое - сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

- Яков! - позвала Марфа неожиданно. - Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирает и была рада, что наконец

уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

- Здравия желаем, - сказал Яков, вводя старуху в приемную. - Извините, всё беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяжными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмутив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

- М-да... Так... - медленно проговорил фельдшер и вздохнул. - Инфлуэнца, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

- Да без года семьдесят, Максим Николаич.

- Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

- Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, - сказал Яков, улыбаясь из вежливости, - и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

- Мало ли чего! - сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. - Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим досвиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

- Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

- Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. Досвиданция.

- Сделайте такую милость, - взмолился Яков. - Сами извольте знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело - кровь гнать, Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

- Ступай, ступай... - сказал он Якову, хмурясь. - Нечего тень наводить.

- В таком случае поставьте ей хоть пивки! Заставьте вечно Бога молить!

Фельдшер вспылел и крикнул:

- Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылел и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

- Насажали вас тут артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пивки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна Богослова, послезавтра Николая Чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник - тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

"Марфе Ивановой гроб - 2 р. 40 к."

И вздохнул. Старуха всё время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

- Помнишь, Яков? - спросила она, глядя на него радостно. - Помнишь, пятьдесят лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели... под вербой. - И, горько усмехнувшись, она добавила: - Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

- Это тебе мерещится, - сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: "Хорошая работа!"

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за всё это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака. А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадеб, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и всё это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

- А я вас ишу, дяденька! - сказал он. - Кланялись вам Мойсей Ильич и велели вам зараз приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

- Отстань! - сказал он и пошел дальше.

- А как же это можно? - встревожился Ротшильд, забегаая вперед. - Мойсей Ильич будут обижаться! Они велели зараз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

- Что ты лезешь ко мне, чеснок? - крикнул Яков. - Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

- Но ви пожалуста потише, а то ви у меня через забор полетите!

- Прочь с глаз долой! - заревел Яков и бросился на него с кулаками. - Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: "Жид! Жид!" Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: "Бронза идет! Бронза идет!" А вот и река. Тут с писком носились кулики, кричали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: "Ишь ты, выдра!" Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: "Бронза! Бронза!" А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенчик с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба - зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старый-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь всё ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки

да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать опять гонять барки - это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводиться гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы всё вместе - и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад - там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещились ему младенчик, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо в что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку - убыток, а от смерти - польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Всё на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съезжился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

- Подойди, ничего, - сказал ласково Яков и поманил его к себе. - Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

- А вы, сделайте милость, не бейте меня! - сказал он, приседая. - Меня Мойсей Ильич опять послали. «Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно». В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека... И швадьба будет богатая, у-у! - добавил жид и прищурил один глаз.

- Не могу... - проговорил Яков, тяжело дыша. - Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный восторг, и проговорил: "Ваххх!.." И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую

память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жида, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

- Скрипку отдайте Ротшильду.

- Хорошо, - ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: "Ваххх!" И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.



А.П. Чехов.

*Произведение, которое читают,  
имеет настоящее;  
произведение, которое перечитывают,  
имеет будущее. (Дюма-сын)*



## Последняя ласточка

Хорошо быть первой ласточкой.  
А последней каково?  
Кто её встречает ласково  
В дни, когда совсем тепло,

И когда всю чирикает,  
И когда всю цветёт?  
Даже солнце ясноликое  
Эту ласточку не ждёт.

Мир, опутанный заботами,  
Грезит об июльском дне.  
Лишь касатка желторотая  
Всё щебечет о весне.

Под серебряное пение  
Сердце бьётся веселей.  
Расцветает вдохновение  
В высохшей душе моей.

Не считайте, ветры шальные,  
Эту песню пустяком.  
Нет великого без малого!  
Мне певунья запоздалая  
Вновь напомнила о том!

«Свете Тихий» **Алексей Гушан.**



*Когда чтение возвышает вашу душу  
и внушает вам благородные  
и мужественные чувства,  
не ищите других оснований  
для оценки произведения:  
оно хорошо и написано мастером.  
(Лабрюйер)*



## Пора цветения

Пора цветения, объятья красоты.  
И каждый лепесток достоин восхищенья.  
Конечно же раз в год цветут сады.  
Весны неповторимо вдохновенье.


Смотри, как изумрудная трава  
Взгляд радует, залюбоваться можно.  
И молодая, свежая листва  
Надежду дарит, многое возможно,

В кипучей нежности весенней, озорной,  
И в жизнеутверждающем потоке.  
Так пусть весна подарит нам с тобой  
Такую радость, чтобы все тревоги

Растаяли, как прошлогодний снег.  
А мир в душе надолго воцарился.  
Цветенья благодать коснется всех.  
Чтоб каждый в жизнь прекрасную  
влюбился...

23.04.12. **Ирина Журавлева.**  
«Свете Тихий»





# ЕГО НЕЖНОСТЬ

Рассказ

Едва стоило ему её увидеть или только подумать о ней, как он тут же испытывал просто невыносимую нежность. Он лелеял и окучивал внутри себя это чувство, и когда оно достигало совершенно неизмеримых габаритов, привычно заглушал его приёмом литра-другого пива с прицепом из водки или коньяка. Не эстетично, но действенно.

Вроде бы взрослый разумный мужичка, вовсе не дурак и даже не глупый, а вот надо же... А казалось, чего проще: просто подойди и признайся в своих чувствах! Да и примеров такого изъявления перед глазами видимо-невидимо - весь спектр от поручика Ржевского с его «мадам, а почему бы нам не...» до плаксивого неудачника Пьеро персонажа французского ярмарочного театра, с нездоровыми мазохистскими и суицидальными наклонностями. Словом, бери за образец любого - не хочу. Правда, конечный результат никто не гарантирует, но зато будет чёткая определённости дальнейшего, которая иногда намного дороже абстрактной свободы и независимости.

Впрочем, дело представлялось вполне понятным: не хотел он терять ощущение этой самой пресловутой нежности, хотя порой она становилась мучительной до невозможности. И снова, хотя бы для временного облегчения, приходилось прибегать к пиву-водке-коньяку. Так оно и катилось по кругу.

Видимо, не хотел он расстаться со своей ежедневно вращиваемой неопределённостью нежности. Нередко даже избегал встречаться с объектом своего тщательно скрываемого чувства. Ни с кем не делился, а потому некому было авторитетно и прямо сказать ему, разом подбить итог:

- Экий же ты, братец, дурачина!

Всепоглощающая нежность к ней уже не оставляла никаких шансов на сходные чувства к другим. Иногда в угоду собственной физиологии ему приходилось прибегать к услугам проститутки или искательниц приключений и денег из интернета, искренно считая, что следует бытовой мудрости: мухи отдельно - котлеты отдельно. В такие моменты его нежность к ней не угасала, но как бы временно помещалась в виртуальную клетку с достаточным количеством виртуальных же воды и пропитания, чтобы не отдать концы.

Разумеется, вся эта тягомотина не могла длиться вечно, ибо нежность, будучи сугубо внутренним чувством, подобна живому существу и без выплесков наружу, без толики свободы чахнет и умирает.

Теперь об объекте его странного влечения, к которому так и не приложилась хранящая им в заточении пресловутая нежность. Девушка была средних лет, далеко не красавица, да и косметикой почти не пользовалась. Не глупая, даже какое-то время в молодости-юности много читала вместо того, чтобы подставлять свои паруса ветрам приключений. Получила неплохое образование и стала ценным специалистом в своей профессии с соответственным заработком. Но к сути истории это ровным счётом не имеет никакого отношения, кроме того, что она была девушкой.

Один общий давний знакомый как-то цинично заметил, что «если её прижать, как следует, к стенке, то она будет очень даже ого-го!». Но для носителя безбрежной нежности подобное оставалось неприемлемым даже после значительного употребления пива-водки-коньяка. Вероятно, что-то из соответствующих механизмов сломалось в ней ещё с детства, хотя, конечно, и с ним всё было далеко не в порядке. Самое время тут обвинить во всём общество, систему, прочие внешние условия, всяких там подвернувшихся «мальчиков для битья». Но оставим, возможно, праведный гнев для других случаев гораздо более злостных социальных нарывов.

У них по-прежнему шло, как шло, безо всяких изменений. То есть он растил и холил в себе нежность к ней, она продолжала своё, по большому счёту никому не нужное существование. Впрочем, для полноты картины нельзя обойти стороной и её чувства, неглубокие, поверхностные, вялотекущие и мало другим интересные. Она к нему относилась довольно неплохо, как и ко многим другим мужчинам вокруг, не пытавшимся добиться её благосклонности при повседневном общении. О её сексуальных фантазиях можно было только догадываться, ведь внешних проявлений того не наблюдалось, а в секс-шопы она точно не заглядывала. Возможно, и зря. Впрочем, кого это интересовало?

По странной логике развития или стагнации этой, по-видимому, патологической с его стороны нежности всё могло закончиться хэппи-эндом или ещё чем положительным в виде, например, рождения детей или объединения имевшихся у обоих скудных материальных благ и небольших денежных накоплений. Однако, всё закончилось иначе.

Его нежность, не подпитываемая ничем реальным ни с её, ни с его стороны, в один прекрасный миг неожиданно «приказала долго жить», «крякнула», «сняла тапочки», «склеила лапы», «отбросила копыта». Странно, причиной тому послужила одна-единственная невзначай оброненная ею фраза, поступок, точнее проступок, ещё точнее вообще бездействие с её стороны.

Как-то он пришёл к ней с твёрдым намерением наконец поступить, если не в духе поручика Ржевского, то уж никак не в стиле жалкого Пьеро.

Её престарелая больная мать с красноречиво близким к апоплексическому удару видом корячилась на четвереньках, намывая деревянные ступени высокой входной лестницы. Крупные бисерины пота покрывали багровое от прилившей крови напряжённое лицо пожилой женщины. На его несмелое приветствие она лишь протянула мокрую тряпку вытереть подошвы обуви и заверила, что дочь находится дома.

Он нашёл объект своей патологической нежности в дальней комнате лежащей на диване с высоко пристроенными на его мягкой спинке ногами.

Включённый телевизор приглушённо лопотал что-то невразумительное и никому не нужное. Коробочка с шоколадными конфетами рядом оказалась наполовину пустой. Она безмятежно улыбнулась и выпустила книгу из рук.

- А ты читал Борхеса?

И тут его нежность резко и бесповоротно умерла, совершенно беззвучно, как и жила до того в нём.

**Сергей Криворотов.**  
г. Астрахань.

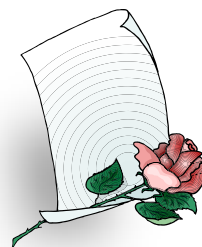


**В**ысокая башня. Ни входа, ни выхода. Обволакивающая темнота, едва различимы контуры предметов. Затхлый воздух. Уходящая в черноту лестница нависает над головой каким-то ирреальным чудищем. Гулко раздаются во тьме шаги по старым заржавленным ступеням лестницы. От долгого восхождения вверх сводит ноги. Но вот где-то наверху появился заглущённый толщей тьмы лучик света. Стремление достичь этого света, стремление выбраться из мрака притупляет усталость...

**З**алитая солнечным светом терраса на самом вершине башни. Вокруг башни простирается голая, бесплодная равнина, в отдалении блещит узенькая полоска моря, притягивающая к себе уставший разум. Но до земли - километры пустого пространства, и в свете умирающего дня возникает щемящее чувство безнадежности и бессилия от осознания невозможности вырваться отсюда.

**Александр Смирнов.** Ярославль.

Из цикла «Брызги на стекле»



## Прощальное ПИСЬМО

Прощальное письмо, последнее «Пока».  
Расстаться легче нам, не подавая руки.  
Ты стала мне опять чужда и далека,  
Я вновь один ловлю тиши дрожащей звуки.

Сияние луны, мерцанье дальних звёзд  
Внезапно и навек в моих глазах поблекли.  
Пылает и трещит надежд последний мост,  
И нет пути назад в его крошечном пекле.

Наверное, вина лежит на мне одном...  
Я словно как венком терновым ей увенчан.  
Теперь уж эту боль не залечить теплом,  
В объятиях других и нелюбимых женщин.

21-12-2012

**Александр Скворцов.**  
(Казахстан) Германия.



Литература была бы совсем  
неплохим занятием,  
если б не надо было писать.

(К.И. Галчинский)



## Письма читателей

9-6-2016 Уважаемая Тамара. Благодарю вас за публикацию. Желаю успехов и процветания драгоценной "Жемчужине". С уважением, **Ген. Русских**. Россия.



9-6-2016 Здравствуйте, Тамара! Спасибо за журнал. Приятно в очередной раз оказаться на страницах "Жемчужины". С уважением,  
**А. Смирнов**. Ярославль.

10-6-2016 Доброго Вам здоровья, Тамара. С Праздником Вознесения Господнего Вас. Мира и радости Христовых. Уточнение: город, в котором я живу и служу называется Херсон, а Херсонес - остатки античного города в Крыму. Прот Василий.

\*\*\* Спасибо, о.Василий. Т.М.

10-6-2016 Здравствуйте, уважаемая, дорогая Тамара! ... Огромное Спасибо за новый номер журнала! Как всегда, прекрасный номер! Особенно яркое впечатление произвела поэма о героях крепости Осовец! Автору от меня поклон и поздравление Вам с ярким автором! Ну, и конечно же, спасибо за публикацию моего стихотворения и рассказ о премьере песни "Признание" - это вообще мне подарок... Храни Вас Господь! Ваш Э. Ковшевный. Россия.

12-6-2016 Дорогая Тамара, Сердечно благодарю Вас за очередной чудесный номер "Жемчужины", замечательную подборку материалов и мудрых изречений! Творческих Вам успехов, вдохновения и всех благ духовных! С Богом! **О. Цвиркун**. Киев.

12-6-2016 Дорогая Тамара Николаевна! Спасибо за пасхальный номер "Жемчужины", знакомство с ним доставило подлинную радость. Особенно привлек рассказ Я. Шипова "Свет" - небольшой, но очень глубокий, с хорошей жизненной грустью. Как всегда, очень добрая детская страничка. Рада была после некоторого перерыва снова увидеть и прочесть Ваш замечательный журнал. С самыми добрыми пожеланиями,

**Татьяна Гладких**. Россия.

13-6-2016 Здравствуйте, Тамара! Простите, что отвечаю с некоторым опозданием. Искренне благодарен Вам за присланный журнал. Читал его с большим интересом. Особенно порадовала очередная работа В. Д. Ирзабекова. Я очень рад, что открыл для себя такого замечательного автора. И это благодаря Вам! От всей души желаю Вам и всем авторам Вашего великолепного журнала творческих успехов и благословения Божьего, а "Жемчужине" - долгой жизни и процветания. С теплом, **Евг. Новицкий**. Украина.

13-6-2016 Здравствуйте, дорогая Тамара Николаевна! От всей души благодарю Вас за журнал и за публикацию моих стихов. Новых работ у меня пока нет, поэтому высылаю подборку стихов из моей давней книжки "ЗАХОДИ, АПРЕЛЬ!" В этой подборке - только стихи о ЛЮБВИ. Стихи на любые другие темы у Вас публикуются регулярно, а вот о ЛЮБВИ... А ведь ЛЮБОВЬ занимает огромное и чуть ли не главное место в нашей жизни и многое-многое в ней определяет. Всего-всего Вам доброго, хорошего! С глубоким уважением и признательностью,

**Владимир Колабухин**. Ярославль.

## Сирень



Горели уши больно-больно.  
И щёки в ссадинах, и нос.  
Но улыбался я, довольный,  
Что вновь тебе сирень принёс.

Цветы в охапку дерзко смяты,  
Роса сверкает в них огнём...  
Не ммурься, сторож бородатый,  
И ты был молод и влюблён!

Ярославль.

**Владимир Колабухин**.

# Саломея

Приключения, почерпнутые  
из моря житейского.  
Александр Фомич Вельтман.

Начало см. № 54

Продолжение...

## КНИГА ВТОРАЯ

### Часть пятая

#### II



- Если пан хочет мне верно служить, у нас будут свои условия, и вот какие: мне уж скоро под шестьдесят, пора на покой. Год еще употреблю на приведение моих дел к концу, куплю имение, и если пан хочет быть мне и слугой и правой рукой, то в вознаграждение я передам пану секрет мой... понимаешь, пан?

- Понимаю.

- Так по рукам, клятву, что будешь мой, и ни шагу от меня!

- И рука и клятва: чтоб черти распластали на мелкие части, а волки обглодали кости, если я с паном расстанусь!

- Ну, с сего часу будь Матеуш; уж я привык к этому имени.

- Матеуш так Матеуш.

- Ну, Матеуш, ступай теперь обедай на мой счет, а после обеда за почтовыми лошадьми по дороге на Минск, чрез Могилев.

- Слушаю, вельможный пане; пообедаю, а потом за лошадьми. Подорожная есть или без подорожной?

- Разумеется; как же можно без подорожной.

- Как, как можно? Да ведь, я думаю, пан и по подорожной двойные прогоны везде платит?

- Не только двойные, - тройные.

- Так подорожная лишний расход.

- Нет, с подорожной все-таки несколько важнее.

- А! конечно, без всякого сомнения.

- Ступай же, Матеуш, вот подорожная, а я пойду обедать к одному приятелю; в четыре часа мы едем.

- Добже, пане!

Дмитрицкий отправился в буфет и потребовал себе обедать на счет Черномского, объявив, что он новый камердинер его сиятельства. После обеда побежал с подорожной на почту.

Когда Черномский возвратился к четырем часам, почтовые лошади были уже запряжены в его коляску, а Дмитрицкий-Матеуш сидел в коридоре в ожидании своего господина и разговаривал с молоденькой гардеробяжкой одной проезжей паньи.

- Ну, скорее укладываться! Матеуш, выноси сундук и ларец.

- Мигом, пане.

И в самом деле, Дмитрицкий, как будто *уроженный* хлопец, так был расторопен, предупредителен, догадлив, исполнительен по части камердинера, что пан Черномский не мог надивиться. Уложил, доложил, посадил своего господина в коляску, захлопнул дверцы, вскричал: «Пошел!», вскочил на козлы, засел и, в дополнение, снял шапку и перекрестился; словом, лихой и благочестивый слуга.

На станциях хлопотал, чтоб скорее запрягли лошадей его сиятельству, сам помогал ямщикам запрягать, покрикивая: «Живо, живо!» - и все, как будто возбуждаемые примером его, суетились. Подъезжая к станции, Дмитрицкий-Матеуш, как будто бог знает с кем едет, соскочит с козел и, не отдавая еще подорожную, начнет толкать ротозеев ямщиков, чтоб скорей отпрягали, прикрикнет потихоньку: «Шапку долой!» Смотришь, ямщики, сбросив шапки, заходят, побегут за лошадьми, смотритель струсит, и тогда только осмелится спросить подорожную, когда Дмитрицкий крикнет: «Готово, ваше сиятельство!»

Черномский, несмотря на свои лета, растет от уважения, которое во всех возбуждает к нему его новый камердинер. Выходя из коляски или садясь в коляску, он уже не может ступить без того, чтобы его не вели под руки.

- Ну, что ж ты думаешь! - шепнет повелительно Дмитрицкий на зрителя; и зритель, оторопев, также подхватит его сиятельство под руку с другой стороны.

Приехали в местечко Гомель около вечера, остановились близ станции подле корчмы.

- Матеуш, - сказал Черномский, - я пробуду с час у моего приятеля, чтоб лошади были готовы.

- Добже, пане грабе.

Черномский пошел к приятелю, а Дмитрицкий в ожидании его возвращения прохаживался на улице подле коляски.

- Черт знает, где эту рожу я видал, - рассуждал он сам с собою. - Иногда такую знакомую гримасу сделает ротом, таким проговорит голосом, что, мне кажется, я вижу и слышу не Черномского, а кого-то другого... припомнить не могу!

Желание допытать свою память так заняло Дмитрицкого, что он не заметил, как прошел час, другой, совершенно уже смерклось, настала ночь; а Черномского нет; наконец раздался его голос издали:

- Гей! Матеуш!

«Вот, вот, знакомый голос, совсем не его!...» - Здесь, пане грабе.

- Да ходь же скоро, свинья!

- Э, брат! - проговорил Дмитрицкий, - о-го!... Что пану потребно?

- Ну!

Дмитрицкий догадался, что надо вести пана грабе; он шел нетвердым шагом.

- Пан уж не поедет сегодня?

- Хм! пан поедет поночи! - отвечал Черномский, переступая через порог и сбрасывая с головы картуз вместе с париком. - Ну, раздевай! халат!

- Э, брат!... Халат в сундуке, пан не велел выносить вещей из коляски.

- Як не велел? свинья не велела... ну!

- Я сейчас принесу важи, - сказал Дмитрицкий, - садись, пан.

- Ну! - повторил нетерпеливо Черномский, сбрасывая с себя пальто. Мутные глаза его слипались; он был бледен и едва мог сидеть.

- Скоро ли поедем? - спросил ямщик.

- Когда поедем, тогда и поедем; за простой заплатят.

- Да я бы лошадям корму дал.

- Ну, давай.

Дмитрицкий внес важи и подушки.

Черномский обыкновенно сам отпирал сундук и вынимал из него что нужно; он не вверял ключа никому из слуг. На ночь сундук ставился в головах у него; под подушку клал он всегда на всякий случай пару заряженных пистолетов.

- Не угодно ли пану отпереть сундук, - сказал Дмитрицкий, поставив его на стул подле дивана.

- Ну, держи! - отвечал Черномский, стараясь наклониться, чтоб отпереть замок ключом, который у него был на цепочке; но наклониться никак не мог, его качало во все стороны.

- Ну! - повторил он, - держи! - Скинул с себя цепочку и долго метил, бранясь, но никак не мог попасть в скважину; а наконец повалился на диван и начал стонать с каким-то диким бредом.

- Яне! пить!... аттанде! я забью тэго пшеклентэго хлапа!... пить, пане!

- Черт знает, у него белая горячка! - сказал Дмитрицкий, перерывая в чемодане, - черт знает, чего тут нет!... рыжий парик! шкатулка с чем-то... тяжела!

- Пить! - вскричал снова Черномский.

Дмитрицкий пошел в хозяйскую, взял кружку воды и поднес ему, приподняв его немного. Черномский с жаждою глотал воду; рот его влез с усами в широкую кружку. Напившись, повалился он снова без памяти на подушку, провел кулаком под носом и стер себе один ус на щеку - другой слез на нижнюю губу; он отплюнул его.

- Эге-гэ! - повторил Дмитрицкий про себя, - так вот он, грабе Черномский-то!... постой-ко, попробуем, как пристанет к тебе рыжий парик.

И он вытащил из сундука рыжий парик, приподнял голову Черномского и надел на нее.

- Ба! откуда это взялся вдруг пан Жельнский, старый знакомец?... Жельнский!

- Бррр! атанде! - проворчал Черномский.

- Изволь! верно идет темная! Постой-ко, брат, каков-то я буду грабе Черномский?

Дмитрицкий напялил на себя перед зеркалом парик Черномского, приклеил усы и вскричал:

- Bravo! Черномский, да и только!... Да! надо надеть мое платье, а дрянную венгерку отдам этому пьянице, моему камердинеру Матеушу Желынскому.

Дмитрицкий, сбросив свою венгерку, натянул пальто Черномского; ошупав карман, он вынул из него большой бумажник, развернул его, пересчитал пук ассигнаций.

- Три тысячи двести; это, верно, на обиход... А вот бумаги, верно документы на графство... Все это должно быть в законном порядке; после пересмотрим; обратимся теперь к тому, что заключается здесь.

Дмитрицкий, вынув из сундука две шкатулки и портфель, отпер их ключами, которые висели на часовой стальной цепочке. Одна шкатулка была набита разными драгоценными вещами: тут были золотые табакерки, перстни, цепочки, фермуары, булавки и прочее; кроме всего этого, несколько свертков золотых монет. Дмитрицкий развернул два свертка и насыпал червонцев в карман. В другой шкатулке в разных отделениях были пачки ассигнаций, карты, заемные письма, закладные и разные бумаги.

- Это все хорошо, пересмотрится после, - сказал Дмитрицкий, отложив пачку в двадцать тысяч в карман и укладывая все на место. - Это гардероб... Ба! приятель! Бердичевский знаемец! помнишь меня или забыл? Здорово!...

И Дмитрицкий вытащил серый старинный фрак, с большими решетчатыми пуговицами; из бокового кармана высунулась какая-то бумага.

- А! это документ, относящийся к рыжему парикю и серому фракю.

- Матеуш! - вскричал Черномский, приподнимаясь с дивана и смотря вокруг себя мутными взорами.

- Проспался, наконец! - сказал Дмитрицкий, запирая сундук.

- Фу! - произнес Черномский, отдуваясь и уставив глаза на Дмитрицкого.

- Ну, вставай! ехать пора! Экой дурачина! что ты смотришь? Неси сундук в коляску!

- Что такое? - проговорил Черномский, - вы, милостивый государь, что такое?

- Совсем одурел! Ты, Матеуш, не узнаешь барина?

- Что такое? - повторил Черномский, вскочив с дивана; но ноги у него подкосились, и он осел снова на диван.

- Насекомое! На ногах не стоит! Что мне с тобой делать? - сказал Дмитрицкий захохотав.

- Что это, пан, значит? - вскричал Черномский.

- Дурак! Как ты смеешь говорить мне просто пан! Ты не знаешь, что я пан грабе, вельможный пан? Говори мне не иначе, как ваше сиятельство, а не то я тебе пулю в лоб!

И Дмитрицкий взял пистолет со стола. Черномский затрясся.

- Цо то есть! - проговорил он, задыхаясь.

- А вот цо то есть: смотри на себя, безобразная рожа! На кого ты похож?

И Дмитрицкий стащил Черномского с дивана, схватил за оба плеча и поставил против зеркала.

- Смотри, урод, на кого ты похож?

Черномского забила лихорадка, зубы застучали: он застонал, взглянув на себя в зеркало.

- Узнал? - спросил Дмитрицкий. - Да врешь, друг: ты думаешь, что ты «пан» Желынский? Нет, погоди! Я за заслуги только произведу тебя в пана Желынского, а до тех пор...

И Дмитрицкий сорвал с головы Черномского рыжий парик и положил к себе в карман.

- До тех пор ты лысый Матеуш, мой слуга, холоп, лакей, хамово отродье!

- А, дьявол! - проговорил Черномский.

И он повалился на диван, схватил себя за голову, заскрежетал зубами, забил ногами.

- Тише! - крикнул Дмитрицкий.

- А, дьявол, обманул! - простонал снова Черномский и вдруг вскочил с дивана, бросился на Дмитрицкого; но тот очень хладнокровно приподнял пистолет и сказал:

- На место!

Черномский со страхом отскочил назад.

- Послушай! - проговорил он дрожащими губами, - послушай, пан Дмитрицкий...

- Пан грабе Черномский, слышишь? Покуда на голове моей этот парик, - сказал Дмитрицкий, приподняв на себе парик, как шапку, - и покуда под носом эти наклейные усы, до тех пор я граф Черномский, шулер, подлец, который с шайкой своей наверняка обдул бедного Дмитриц-

кого. А ты, до тех пор, покуда я не награжу тебя рыжим париком и серым фракком, до тех пор ты хлоп Матеуш...

- Одно слово, пан! - сказал пан Черномский, задыхаясь и кусая губы, - бесчестно это, это низко, воспользоваться моею доверенностью! Я полагал, что пан Дмитрицкий благородный человек!...

- А кого ж обманул пан Дмитрицкий?

- Меня!

- А ты кто такой?

- Кто?... я пан...

- Ну, ну, ну, договаривай скорей!

- Пан грабе Черномский.

- Врешь! Ты знаешь ли кто?

Черномский побледнел.

- Пан грабе Черномский вот этот парик, - продолжал Дмитрицкий, - а пан Жельинский вот этот парик. А пан Дмитрицкий нанялся на службу к вельможному пану Черномскому, а не к тебе - лысому болвану! Как же ты смеешь говорить, что пан Дмитрицкий тебя обманул?!

- Пан Дмитрицкий, - сказал Черномский, - не я обыграл пана, даль буг же не я! Но я готов из своих денег возратить пану десять тысяч...

- Скажи пожалуйста, какой богач!

- Будь ласковый, пане, кончим шутки... Отдай, пане, мои ключи.

- Да ты кто?

- Перестань, пане, шутить... получай десять тысяч, и Бог с тобой.

- А я с тобой вот как шучу: хочешь у меня служить Матеушом? Я люблю это имя: у меня, пана грабе, все люди назывались Матеушами. Хочешь? А не то, убирайся!

- Я прошу пана оставить шутки; а не то я объявлю полиции, что пан хочет ограбить меня и убить.

- Так ты ступай в полицию скорей, а не то я уеду... Ну, пошел же!

- Пане, я двадцать тысяч дам.

- Ба, уж рассветает! Пора ехать мне! Эй! кто там?

- Пане! - вскричал Черномский.

- Прочь!

- Что угодно пану? - спросил вбежавший хозяин.

- Вот тебе за постой, - сказал Дмитрицкий, бросив красную бумажку на стол. - Неси сундук в коляску.

- Пошел, я сам понесу! - вскричал Черномский, совершенно потерявшись, - ступай вон!

- А, мерзавец, одумался! Жид, помоги ему; где ему дотащить до коляски.

- Караул! Грабят! - вскричал Черномский как сумасшедший, оттолкнув жиди и обхватив сундук, - караул!

- Хозяин, ступай к городничему, чтоб прислал солдат взять этого пьяницу! Скорей!

- Не буду! - проговорил Черномский, задыхаясь, - я понесу! Ступай, мне нужно поговорить с паном.

- Ни слова!

- Пане!

- Ну!

- Я понесу, понесу!

- Жид, тащи вместе с ним!

Черномский и жид понесли сундук в коляску. Черномский нес и стонал.

Вслед за ними вышел и Дмитрицкий.

- Ну, живо! - вскричал он, садясь в коляску. - Ты так и поедешь без фуражки, в одной рубашке? Дрянь! Ну, пошел, надень сюртук и фуражку!

- Панья матка бога! - проговорил Черномский жалобным голосом, держась обеими руками за коляску.

- Ну, долго ли будешь думать? Ямщик, пошел!

Ямщик приподнял кнут.

- Караул! - вскричал Черномский, ухватясь за коляску, - постой, постой, еду! Вынеси, хозяин, картуз да сюртук мой.

- Ах ты, дурак, трус; боится, что я уеду, брошу его!..

Черномский охал, держась за коляску. Жид вынес венгерку и картуз.

- Не мой сюртук, - сказал Черномский, - это венгерка пана.
- Не узнает своего платья! Вот нализался! Долго буду ждать? Куда? На козлы!
- Нет, этого уж не будет! - вскричал Черномский, - я не хлоп какой-нибудь.
- Так оттащи его, жид; прощай, пан!
- Еду, еду!

И Черномский взобрался со стоном на козлы.

- Пошел! - крикнул Дмитрицкий. - Болван, думает, что я с ним не справлюсь! Нет, брат Матеуш, заикнись только у меня, ступи не так, не пожалею медного лба! Мне, брат, все равно: семь бед один ответ. Хочешь служить верой и правдой - служи, а вздумает проказить, грубиянить, пьянствовать, подниматься на какую-нибудь штучку, чтоб опять парик надеть; так тогда уж извини - на все пойдет! Слышишь ты?

Черномский в ответ простонал.

«Э! да куда ж я еду? - спросил Дмитрицкий сам себя. - Куда ж мне ехать? А? Вот вопрос».

- Эй, ямщик, куда идет эта дорога?

- Да в Могилев же, в Могилев.

- А что ж я буду делать в Могилеве? А еще куда?..

- Из Могилева в Минск, да на Смоленск.

- А что ж я буду делать в Минске и в Смоленске? Мир велик, а прислониться негде, и ни одной души, которой бы можно было сказать откровенно: послушай, душа моя, поверишь ли ты мне, что я ужасная свинья. «Неужели?» - Ей-ей! черт сбил меня с пути, и вот, сам не знаю, что делать на белом свете. - «Женись». Да не знаю, где живет невеста, - куда к ней ехать? Родилась ли она, жива, или умерла, ничего не знаю. Другим как-то счастье: все само ладится. Уж если влюбится и навяжется на шею, так по крайней мере девушка, а не чужая жена, как, например, Саломея Петровна. Уверила, что я создан, собственно, для нее, а она для меня, я и поверил, да и увез ее. Что ж из этого вышло? Она - на стороне; я на другой. А желательно было бы знать, что с ней делается: где она? что она? Удивительный характер! Поскакала от мужа, от отца, от матери, черт знает куда, точно как из гостей домой! Отец и мать! Господи, боже мой, отец и мать! Я бы поехал теперь к отцу и матери... «Здравствуй, Вася, здравствуй, сынок!» У Васи сердце бы порадовалось; Вася бы заплакал. «Это что у тебя? Где это ты нажил?» - «Бог дал». - «Ах ты мое нещечко», - сказала бы матушка и заплакала бы с радости. «Врешь, брат, - сказал бы отец, - верно, ты черту служишь!» - и заплакал бы с горя... Да это все мечта: батюшка умер давным-давно, а матушка недавно скончалась. Э! Да у меня есть тетка и сестра невеста; верно, в бедности живут... Вот случай - осыпав Наташеньку; прекрасно!

Дмитрицкий стал развивать и лелеять эту мысль в голове.

Приехали на станцию.

- Матеуш! - крикнул Дмитрицкий, - распорядись скорей о лошадях.

- Нет, пан, - отвечал Черномский, соскочив с козел, - лошадей успеют запрячь. Прежде всего надо решить - кому пановать на этом свете: если пан благородный человек, то не откажется на мой вызов... пара пистолетов есть.

- Изволь, брат, пойдем; вот тут же в рожице. Только не иначе, как оба заряда в один пистолет; а потом выбирай любой. Но подлецу я в руки не дам пистолета, а сам, одним дулом себе в пузо, а другим тебе...

- Нет, я на это не согласен!

- Так пошел, записывай подорожную! Ну!

- Это, пан, бесчестно!

- Ну!

Черномский бросился от Дмитрицкого.

- Постой, поди сюда! Вот что я тебе скажу: хочешь, чтоб я возвратил тебе название плута грабе Черномского, и все... разумеется, кроме того, что у меня выиграла мошенники? Хочешь?

- Пан обязан воротить мне все!

- Ну, это мечта! Слушай, что я тебе говорю: во-первых, отвечай, женат ли ты?

- Женат, пане, имею шесть человек детей, на руках моих все родные; все, что нажил трудом - нажил для обеспечения своего бедного семейства. А пан хочет лишить меня всего, пустить по миру по крайней мере двадцать человек!

- Так ты женат? Ну, черт с тобой, ступай, да чтоб скорее лошадей.

- А пану для чего знать, женат я или нет?

- Дело кончено, так нечего и говорить условий, на которых я бы тебе возвратил парик с усами и имущество Черномского.

- Да я прошу сказать мне, пане, какие условия, может быть, я их исполню.
- Нет, уж кончено; ты женат и мне не годишься.
- Я пану нарочно сказал, что я женат.
- Подлец! Думал, разжалобить... Теперь уж я не поверю.
- Ей-ей, не женат!
- Так хочешь жениться на моей сестре? Девочка чудо, с хорошим состоянием, умна; ну, просто, отдаю ее тебе, как свинье апельсин, для того только, чтоб исполнилось мое предсказание, что она будет графиня.
- Пан все отдаст мне?
- Все, кроме выигрышных у меня.
- То есть восемь тысяч?
- Нет, любезный, сто восемь.
- Э, нет, пане, не могу согласиться.
- Ну, не можешь, так оставайся холостым Матеушем.
- Но какие ж выигранные сто тысяч у пана? Я и не знаю об них.
- А вот те, что шайка твоя выиграла у меня.
- Пан обижает меня!
- Ну, обижаю, так оставайся холостым Матеушем.
- Я готов двадцать тысяч из своих кровных прибавить к восьми, а больше не в состоянии.
- Ты дурак: из ста тысяч - я шестьдесят назначил твоей будущей жене в приданое.
- Восемьдесят, пан, и мне отдать в день свадьбы.
- Торговаться? Так ни жены, ни копейки. Убирайся!
- Пан сдержит свое слово свято?
- Еще спрашивает...
- Ну, так и быть, я согласен. Вот рука моя.
- Пошел к черту со своей грязной рукой!
- Прошу пана отдать мне ключи.
- Нет, приятель, это будет все сделано следующим образом: теперь мы поедем в Шклов; там я кое-что куплю к свадьбе. Там, говорят, все есть у жидов, и дешево. А потом поедем в Путивль, где живет моя тетка. До тех пор ты будешь Матеуш, слышишь?
- Пан не верит мне, что я исполню данное слово? Я не могу унижать себя, ехать на козлах.
- Врешь, поедешь, и на деревянном козле - на котором вашу братью-мошенников кнутом дерут.
- А если, пан, свадьба как-нибудь не состоится?
- Если только не ты в этом будешь виноват, получишь все, как сказано.
- И условленное приданое?
- Половину.
- Ну, так и быть!
- Лошади были запряжены; Черномский, понимая нрав Дмитрицкого, верил ему на слово, и как низкая душа обратился в совершенного холопа. Прикрикивал в подражание Дмитрицкому на ямщиков, на смотрителей, называл барина его сиятельством; но только портил дело.
- Поди-кось какой, - говорили ямщики. - Экой страшный, расхрабрился. Запрягай сам!
- Еще прикрикивать вздумал. Так нет же лошадей, все разошлись. А курьерских не дам! - говорили и смотрители станций.
- Дмитрицкий платил тройные и четверные прогоны, сидел по несколько часов на станциях и ехал как на волах. Приехав в Шклов, он расположился в гостинице у жида, потребовал почтовой бумаги и написал следующее письмо к тетке:
- «Любезная тетушка Дарья Ивановна. С год тому назад вы писали ко мне в полк, жаловались на недостатки и просили прислать хоть рублей сто. Тогда у меня, ей-ей, ничего не было. Теперь очень рад служить вам: ведь вы да Наташенька только и родных у меня! Наташеньке я везу жениха, моего приятеля, графа. Только вы, пожалуйста, наймите богатый дом, со всей роскошью, да нашейте моей сестричке, будущей графине, модного платья и разных уборов, чтоб все было на знатную ногу, чтоб не стыдно было принять сиятельного. На расходы посылаю двадцать тысяч, а сам привезу все приданое, шалей, материй, драгоценных вещей и всего. Поторопитесь все устроить, недели через две я непременно буду. *Любящий вас племянник В. Дмитрицкий*».

Вложив в конверт двадцать тысяч, Дмитрицкий запер свою комнату и сам отправился с письмом на почту, отдав приказ Черномскому привести жидов с товарами. Почта была в двух

шагах, и потому Дмитрицкий скоро возвратился; но жида пронюхали богатого покупателя, набежали со всех сторон с узлами и ящиками, разложили свои товары на полу и перебранивались. Жид Мошка с узлом полотна уверял жида Иоску с ящиком янтарных колечек, сердечек, мундштучков, игольников и прочее, что пану не нужны его игольники, что пан не шьет; а Иоска твердил, что пан не такой дурак, чтоб стал покупать у Мошки миткаль вместо полотна.

Старый жид Соломон отталкивал ногой узел другого Мошки и говорил ему, чтоб он добром шел домой, покуда барин взашей его не выгнал.

- Ты разве не знаешь, что вельможный пан в бумажные платки не сморкается?

- А что ж, он в твое гнилое сукно будет сморкаться? Славное сукно, седанское! С бумагой пополам!

- Не трогай руками! - вскричал Соломон, ошетинясь.

- Не толкайся! - вскричал Мошка.

Жид Хайм притащил дюжины три одеял и готовился - только что войдет вельможный пан - раскинуть одно на всю комнату, по головам и товарам, и крикнуть:

- А вот же, вельможный пан, самые лучшая покрывала, двухспальные, каких лучше не бывает! Усь если пан хочет иметь покрывала, так усь пан будет ласков: купит вот это.

Но Шлем, посматривая в окно, говорил Хайму:

- Видишь, офицер приехал к Ханзе, ты бы шел туда; он скорее купит одеяло, а вельможному пану не нужно одеяло; вельможный пан хочет купить материй на жилетки.

- Дз, эх! узнал он, что у тебя есть жилетки, каких и даром никому не надо!

- Дз, эх, - повторял и Черномский, - промотает каналья Дмитрицкий у меня все деньги!

Только что вошел Дмитрицкий, жида в один голос начали высчитывать свои товары.

- Ну, что у вас есть, показывай, - сказал он, садясь на диван.

Жида полезли на него толпой, давят, толкают друг друга; крик страшный. «Сукно седанское, пане! Какого цвету прикажет пан? Полотно голландское! Перчатки, пан, французские! Платки, пан, материи разные, атлас, бархат, тафта! Перчатки, пан: какую прикажет пан вырезать? Ситцы! Колечко пану? Цепочки, серьги бриллиантовые!»

- Вон! - крикнул Дмитрицкий. Все вдруг умолкли.

- А что ж пану угодно? - вызвался Соломон.

- Молчать! Ты! показывай серьги бриллиантовые! Скверные...

- А вот же лучше! Работа какая! Бриллианты с бирюзой...

- Гадкие! Что стоят?

- Дешево, пан, для пана триста червонцев.

- Сто хочешь?

- Да помилуй, пан, как это можно покупать такую дрянь! Им вся цена десять карбованных!

Камни фальшивые! - вскричал Черномский.

- Тебя спрашивают? - прикрикнул Дмитрицкий.

- Пан только деньги бросит. У меня есть бриллиантовые серьги; я пану уступлю их за сто червонных, не такие, - сказал Черномский.

- Свои подаришь сам невесте... Это что, мундштуки? Что этот стоит?

- Двадцать червонных.

- Десять.

- Ах ты, свента matka Мария! Это композиция!

- Мне все равно, композиция или янтарь, я покупаю, что мне нравится.

- У пана денег много! Пану деньги нипочем! Пан их не наживал трудом!

- Ни трудом, ни мошенничеством: по наследию достались; и потому молчи! Что это, шали?

Показывай.

- Аглецкие, самые лучшие - бур де су а !

- Что голубая?

- Пятьдесят червонных.

- Дорого! Возьмешь и половину.

- Видно, пан знает толк, - сказал Черномский, ахнув, - сшивная, середина от старой дрянной шали, девки носят! Возьми, пан, за эту цену мою тибетскую.

- Пустяки! Ты свою подаришь сам невесте; а эту я подарю ей.

- Чтоб моя невеста носила такую поскудную шаль! Фи!..

- Не хочешь? Ну, так я подарю ей турецкую, выпишу из Одессы.

- Турецкую пану! У меня такая турецкая... Дз, эх! - вскричал жид и, оставив свой узел и шали, разложенные по полу, схватился за шапку и побежал вон.

- У пана много денег, что пан так бросает их! - сказал Черномский со страдальческим выражением лица, как будто у него жилы тянут.

- А тебя кто просит сожалеть о моих деньгах?

- Нельзя, пане, нельзя не жалеть; деньги не легко достаются.

- Потом и кровью: оттого-то ты такой худой и бледный. Трудно переводить деньги из чужого кармана в свой! Вели-ко подать мне бутылку шампанского - я выпью за твое здоровье.

- Пану шутки!

- Вот, васе сиятельство! Вот настоящая турецкая! - вскричал запыхавшийся жид, вбежав в комнату с новым узлом.

- Показывай!

- Ганц фейн! Дз-эх! Вот шаль - у султана турецкого нет такой!

- Что стоит?

- Пятьсот червонных; только десять червонных и наживаю барыша.

- Я тебе дам за нее...

- Пан! - вскричал Черномский, - позволь мне торговаться и покупать пану! Пан не знает толку в товарах!

- А тебе-то что?

- Не могу, панья матка бога, не могу!

- Ну, изволь, покупай!

- Что просишь ты за шаль? - спросил Черномский, уставив глаза на жида.

- Пятьсот червонных.

- Берешь восемьдесят?

- Пан покупать не хочет, - сказал жид, складывая шаль.

- Тут тебе ровно десять червонных наживы.

Жид, ни слова не говоря, сложил шали в узел, укрутил его тесьмой, взвалил на плечи и сказав, - «прощайте, пане!» - вышел.

- Ты с ума сошел, вместо пятисот даешь восемьдесят! Мне шаль нравится, я дам ему двести пятьдесят червонных.

- Завтра шаль будет у пана за семьдесят пять червонных. Не хотел брать десяти барыша, - возьмет пять.

В тот же день жид пришел снова.

- А что ж, пане, «шаль? Деньги нужны, в убыток продаю; извольте, беру четыреста червонных.

- Восемьдесят.

- Триста пятьдесят, угодно?

- Ни копейки.

- Ну! Будь пан так счастлив, отдаю за триста! - и жид хотел развязывать узел.

- И не хлопочи! Больше восьмидесяти сегодня не возьмешь, а завтра отдашь за семьдесят пять.

- Пану не угодно покупать? - сказал жид; долго завязывал узел и, наконец, ушел.

Через час явился снова, сбавил цены на половину.

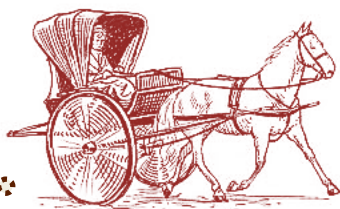
Через час снова пришел и, положив шаль на стол, сказал:

- Эх, что делать! Пан такой счастливый! Уж я знаю, что пан сам что-нибудь прибавит.

- Как же это ты, - сказал Дмитрицкий, - запросил пятьсот червонных, а отдал за восемьдесят?

- А что ж, я виноват, - отвечал жид, - коли нет счастья!

*(Продолжение следует)*



**Александр Фомич Вельтман.**

«Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают полтинник. Будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду».

М.Е. Салтыков-Щедрин.

*Жена мужу: Мне столько денег надо! - на причёску, на маникюр, на педикюр, на косметику...*

*Муж: - А мне повезло! Я сразу красивым родился.*



# Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

## Ранние грозы



Продолжение



(начало в № 60)

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**XVIII** Марья Сергеевна вместе с Наташей встречали Павла Петровича на железной дороге. Когда поезд подходил, Марья Сергеевна сильно волновалась. Ей казалось, что, как только поезд подойдет и муж выйдет из вагона, сразу же начнется что-то страшное, отвратительное. Но, когда поезд подошел и Павел Петрович вышел на платформу, она спокойно и с улыбающимся лицом пошла к нему навстречу, приветливо протягивая руку. Обменявшись первыми поцелуями и приветствиями, она шла рядом с ним просто и даже весело, удивляясь и своему спокойствию, и той простой лжи, которая вдруг появилась в ней и делала ее естественною и непринужденною. Вокруг нее сновал народ, раздавались возгласы, приветствия, выкрикивания носильщиков и комиссионеров из разных гостиниц, и Марья Сергеевна нарочно медлила, стараясь оставаться на вокзале как можно дольше, инстинктивно понимая, что тут, среди суеты и чужого люда, ей легче быть такою, нежели оставшись с ним наедине. Но, наконец, все было готово, вещи перенесены из багажного отделения, экипаж нанят и носильщикам заплачено.

- Ну, едем же, едем, - говорил Павел Петрович, протягивая руку жене и торопливо направляясь к выходу. Он поминутно поворачивал свое запыленное и как будто еще более пожелтевшее с дороги лицо то к жене, то к Наташе и, радостно улыбаясь, пожимал им обеими руками.

Они вышли, наконец, в залу, где было просторнее, и тут он решил, что поедет домой, переоденется и отправится оттуда прямо в департамент, где ожидал найти очень спешные и важные бумаги. Марья Сергеевна в душе была этим очень довольна.

- Значит, мы тебе сейчас не нужны?

- Значит, не нужны, - отвечал он, ласково целуя ее руку и с улыбкой взглядывая на Наташу.

- И потому мой вам совет: поезжайте сейчас же на дачу, а к пяти часам и я приеду, и надеюсь, что вы меня хорошо накормите: признаюсь, все это время по разным дорогам отвратительно ел.

Когда жена с дочерью отъехали от него на несколько сажен, он с минуту еще оставался на крыльце вокзала, глядя им вслед. Наташа повернула к нему свое раскрасневшееся личико и кивала ему головой. На мгновение обернулась и Марья Сергеевна.

«Милые мои!» - подумал вдруг Павел Петрович, и это слово, и понимание, что он вернулся, и улыбающиеся ему издали лица жены и дочери, все как-то разом подействовало на него. Он чувствовал себя бесконечно счастливым, и сознание своего счастья растрогало его и охватило благодарностью ко всем и ко всему, что было источником этого счастья.

Марья Сергеевна поехала с Наташей сначала по разным магазинам; она насильно хотела заставить себя как-нибудь забыть, хоть ненадолго, и потому схватилась за покупку разных вещей, нужных для ее и Наташиных осенних костюмов.

"Наташе нужно будет - думала она, - одно коричневое платье для гимназии и еще какое-нибудь для дома - простенькое, серенькое отделать можно будет. Но отчего же мне не страшно? И отчего во мне вдруг пропало отчаяние и тот ужас, который я чувствовала еще вчера? И потом... Отчего я не чувствую ни неловкости, ни стыда перед ним? Как будто мне все равно или как будто ничего не случилось?" Ее мысль возвращалась к этим вопросам помимо ее воли и желания, и, ловя себя на них, она снова с досадой и нетерпением старалась переключиться на что-нибудь другое. В лавке она очень долго выбирала различные ткани, спокойно и задумчиво драпировала их в красивые складки и даже прикладывала к лицу Наташи, решая, пойдут они ей или нет.

Наташа стояла больше молча, не совсем охотно помогая матери в ее выборе, и порой только взглядывая на нее с легким недоумением, как будто чего-то не понимая и чему-то удивляясь.

Наконец, Марья Сергеевна выбрала все, что нужно, и приказчик начал отмеривать. Она машинально следила за тем, как его руки быстро и ловко обтягивали вокруг деревянного аршина мягкие полотнища материи.

"И какое у него было лицо, когда он стоял на крыльце и глядел вслед?" - вдруг пришло ей в голову.

- Двадцать аршин? - переспросил приказчик.

Она слегка кивнула головой.

"Да, конечно, он любит, - продолжала она думать, припоминая мысленно его лицо. - Но его любовь не увлекает. В ней чего-то недостает. Его нельзя любить безумно, потому что женщина, которую он любит, невольно чувствует, что он и сам не может любить до безумия, увлечься до забвения. У него всегда будет ощущаться эта граница, после которой он говорит себе: дальше нельзя! И не пойдет..."

Аккуратно к пяти часам Павел Петрович приехал на дачу. Обед был подан на балконе, и яркие лучи солнца, преломляясь в хрустальных рюмках и стаканчиках, бегали радужными зайчиками по белой гладкой скатерти. Марья Сергеевна встретила Павла Петровича еще в саду и с улыбкой подставила его губам свой белый душистый лоб.

- Ну, вот я и дома! - радостно сказал Павел Петрович, оглядывая и жену, и знакомый садик, и балкон дачи, на которой они жили уже шестой год, и свое любимое большое кресло темного сафьяна, стоявшее на "его" месте у обеденного стола. - Здравствуйте, милая Феня, здравствуйте! - прибавил он, увидев ее.

Феня поклонилась не то любезно, не то насмешливо.

- А где же Наташа?

- Барышня у себя-с, прикажете позвать?

- Да, да, пожалуйста, и давайте поскорее обедать, я ужасно проголодался.

Феня ушла, прошуршав своим густо накрахмаленным платьем, и, проходя по гостиной, чему-то зло усмехнулась: «Не ждешь, миленький...»

Павел Петрович подошел к жене и, обняв ее рукой, слегка откинул ее голову и крепко поцеловал в губы.

Марья Сергеевна чуть-чуть вспыхнула, но не отодвинулась от мужа и спокойно смотрела в его лицо как будто слегка смеющимися глазами.

- Ты не знаешь, Marie, какое счастье - вернуться после всех этих странствий в свой уголок, - говорил Павел Петрович: - ты никогда не уезжала из дома и не понимаешь этого чувства...

- Нет, отчего же... Я понимаю.

Она тихо убрала его руку со своей талии и, отойдя к столу, начала готовить какой-то салат, низко наклоня над ним свое краснеющее лицо. Она не чувствовала ни страха, ни отчаяния, ни даже тоски, как ожидала, но его ласки и поцелуи стесняли и конфузили ее, как ласки постороннего ей человека.

- Ну, вот и Наташа!

Павел Петрович усадил дочь рядом с собой. Марья Сергеевна разливала раковый суп, любимый Павлом Петровичем, и даже этот суп был ему особенно приятен, как знак внимательной заботливости жены. Против своего обыкновения Павел Петрович говорил очень много, рассказывал о своей поездке, делах, и даже о министерстве, что обозначало у него наилучшее расположение духа.

Марья Сергеевна была очень рада его разговорчивости, дававшей ей возможность больше молчать и только слушать его с внимательным и ласковым видом. Но в душе она волновалась. "Сейчас, - тревожно думала она, - он спросит меня, что мы без него поделывали; он всегда, все пятнадцать лет каждый раз это спрашивал... Но теперь это будет самое тяжелое из всего".

И Павел Петрович, точно спеша оправдать ее ожидания, заботливо спросил:

- Ну, а вы что поделывали без меня?

- Ничего, - отвечала Марья Сергеевна спокойно, - то же, что и всегда... И даже слегка пожалала плечами, как будто желая сказать этим: что это мы могли поделывать особенного?

- Ну, а Наташа? Ты как?

Наташа быстро вскинула глаза и, вся покраснев, снова торопливо опустила их в тарелку.

Но Павел Петрович ничего не замечал.

- Экзамены прошли, конечно, отлично? Ты у меня ведь умница, моя девочка? Я нахожу, что вы обе очень поправились и поздоровели за нынешнее лето. Даже могу сказать комплимент, - продолжал он, - не только поправились, но и похорошели обе. Marie особенно...

Марья Сергеевна засмеялась с едва заметной принужденностью.

- Очень любезно! Остается только благодарить...

- Нет, право, очень похорошела, и притом в твоём лице появилось что-то новое. Я не знаю, что... но что-то есть. Может быть, это из-за костюма: вы обе такие нарядные. Верно, ради моего приезда? Впрочем, сегодня уж такой удачный день, даже обед как-то особенно вкусен.

- Все твои любимые блюда.

- Да, я это уже заметил, - прибавил он шутливо. - И все это дает мне право чувствовать себя сегодня в некотором роде героем дня. Но мне не нравится только одно: моя девчурка стала ужасно молчалива; прежде её восторг по поводу моих возвращений выражался более буйным образом.

Марья Сергеевна бросила беглый пытливый взгляд на дочь и на мужа, но при этом слегка испуганное выражение её глаз перешло почти сразу же в улыбку.

- Растет... Становится застенчивее... Все девушки застенчивы в пятнадцать лет.

- Да, молодое растёт, а старое старится! - согласился с легким вздохом Павел Петрович. - Приходится уступать дорогу. Но ты, Marie, не старись, ты все такая же, как была и пятнадцать лет тому назад. Даже, пожалуй, ещё лучше!

Марья Сергеевна насмешливо засмеялась:

- Вот истинно "мужнин" комплимент! Кто говорит женщине о годах, да ещё желая сказать ей любезность? Нет, ты неисправим.

- Что делать, Marie, сказать по правде, я никогда не умел говорить комплиментов. Сознаться. Помню даже, кузина София ещё десять лет назад говорила, что я невыносим для женщин в иной роли, кроме роли мужа...

Марья Сергеевна вдруг быстро подняла голову, и в её глазах промелькнула какая-то загадочная и точно злая улыбка.

- Быть может, она права. Да, но я все-таки нахожу, - прибавила она после короткого молчания с насмешливой улыбкой, которой Павел Петрович совсем не помнил у неё прежде, - что я даже и права ещё не имею стариться. Во всяком случае для роли "жены" я не могу быть стара в свои тридцать три года, тем более что я знаю многих мужчин, которые и в тридцать шесть лет играли роль молодых людей и женихов.

- Ого! - Павел Петрович рассмеялся совсем уж весело и громко. - Даже у моей кроткой Marie вырастают коготки, когда нескромно заговорят о годах. Что значит быть женщиной! Хотя, спешу прибавить - пользуясь своим праздничным настроением - прелестной женщиной!

- Не будем брать на себя чужих ролей.

И с легкою насмешливою гримаской Марья Сергеевна быстро встала из-за стола и отодвинула свой стул, давая этим понять, что обед закончен.

Наташа поспешила уйти все с тем же стыдливым и смущённым выражением на лице, точно в душе ей было совестно за их разговор.

Павел Петрович задумчиво и нежно смотрел ей вслед.

- Она очень выросла и переменялась, - сказал он и, помолчав немного, снова подошел к жене и обнял её.

Он чувствовал сегодня какой-то особый наплыв нежности и любви к жене. Ему все нравилось в ней, даже сам её тон, слегка насмешливый, которым она раньше никогда не говорила с ним, делал её в его глазах ещё интереснее и привлекательнее, и он со страстным восторгом целовал её.

А Марья Сергеевна с испугом и удивлением глядела на его покрасневшее лицо и точно не узнавала его. Эти глаза, замутившиеся страстью, горячие губы, целовавшие её, и даже руки, обвивавшиеся вокруг её талии, казались ей каким-то оскорблением, насилием, и, с трудом сдерживая слезы, она до боли закусывала свои побелевшие губы и не чувствовала уже больше перед ним ни стыда, ни страха, ни угрызений совести, а только злость и отвращение.

**XIX** Август уже подходил к концу; стоявшая все время прекрасная погода вдруг изменилась, и дождь полил почти безостановочно. Все небо обложило хмурыми, седыми облаками, и в этой бесконечно однообразной серой пелене, нависшей над мокрою от дождей землей, не проскальзывало ни одного солнечного луча, не проглядывало нигде светлого клочка синевы. Осень наступала быстро, сразу после летней жары. Все потянулись с дач обратно в город, и по всем закоулкам и улицам ползли огромные возы с мебелью. Все больше оголялись деревья, сдерживались со всех балконов белые маркизы и обрывались в палисадниках уезжавшими дачниками последние, вымокшие под дождем цветы. Опустошенные дачи стояли с распахнутыми настежь дверями, дождь уныло барабанил в окна, и крупные капли его, точно слезы, катились по стек-

лам. Ветер, стуча и хлопая оторванными кое-где ставнями, глухо шумел и завывал на вздувшемся озере, вспенивая на нем беленькие гребешки, и со свистом налетал на деревья, сердито пригибая их к земле.

Между тем Марья Сергеевна под разными благовидными предложениями откладывала день за днем свой переезд, несмотря на то, что Павел Петрович, вернувшийся слишком поздно для того, чтобы переезжать на дачу, жил в городе и в каждый свой визит просил и жену перебраться скорее.

Но Вабельский еще оставался на даче, и видеться им с Марьей Сергеевной тут было гораздо удобнее, чем в городе, а потому она и затягивала, насколько возможно, свой переезд.

Наступило уже тридцатое число. Наташе давно пора было в гимназию, Павел Петрович торопил настоятельнее и решительнее, откладывать становилось невозможно, и осознание этой невозможности раздражало и пугало Марью Сергеевну. Очутиться в городе в одной квартире с мужем, постоянно быть вместе с ним, выносить его ласки, лгать, притворяться всегда, каждую минуту, и, наконец, что было для нее хуже всего, - потерять возможность видеть Вабельского не только каждый день, но даже более или менее часто, - все это заранее мучило ее, и она предчувствовала, что на такую игру у нее не хватит ни характера, ни умения.

Непринужденность ее лжи перед мужем на первых порах удивляла ее самое, но с каждым их новым свиданием эта маска притворства становилась ей тяжелее и отвратительнее. Та злость и отвращение, которые она почувствовала к мужу в первый день по его приезду, начинали проявляться в ней со все большею силой. Она постоянно переходила от раскаяния к озлоблению.

Когда мужа не было с ней, она сознавала, как сильно виновата перед ним, и с мучительной болью чувствовала всю низость и подлость своего поведения. Но когда он приезжал и особенно в те минуты, когда он был наиболее нежен с нею, бессильная злость и отвращение тотчас же завладевали ею. Она негодовала на него, за то что должна лгать и притворяться с ним; за то что он имел все "законные" неотъемлемые права любить ее, и от нее требовал того же; за то что принадлежала ему, тогда как все ее существо возмущалось против этого и рвалось к другому человеку, которого она не только не смела открыто признавать своим, но и невольно краснела перед всеми за краденое чувство.

Чем больше осознавала она все это, тем безумнее любила Вабельского; и чем больше любила его, тем сильнее чувствовала к мужу отвращение. Она утешалась только тем, что Павел Петрович, занятый более чем когда-нибудь своими делами и службой, приезжал на дачу не более двух раз в неделю.

Виктор Алексеевич Вабельский очень интересовался "положением дел с мужем", как он, шутя, говорил порой Марье Сергеевне и, слушая ее откровенные обо всем рассказы, приходил в приятное удивление. Положительно, он не ожидал от нее такой ловкости.

Она рассказывала ему все, находя какое-то наслаждение в том, чтобы раскрыть ему всю свою муку. Когда она признавалась ему в своем отвращении к мужу, Вабельский почувствовал какое-то безотчетное удовольствие. До сих пор он никогда не ревновал к мужьям, признавая их законные права, но Павел Петрович и его нежность к жене как-то странно коробили его. Он предпочел бы, чтобы мужа совсем не было в данном случае. Он не желал ни жениться на Марье Сергеевне, ни открыто сойтись с ней навсегда, но в то же время чувствовал, что ему было бы приятнее, если бы она принадлежала ему одному. Постоянная боязнь за свои с ней отношения и возможность даже прекращения их, в случае, если бы Павел Петрович узнал что-нибудь, вовсе не нравились ему.

Порой ему казалось, не будет ли, в самом деле, лучше, если Марья Сергеевна разойдется с мужем. Многими своими сторонами этот вариант нравился ему, но боязнь, что тогда их отношения могут принять слишком серьезный характер и даже, пожалуй, затянуться навсегда, останавливала его.

Марья Сергеевна уже давно испытывала подобное желание, но остановиться на нем окончательно она все еще не решалась. Разойтись с мужем - в душе она только о том и мечтала, но сделать это сейчас же, сразу - у нее не доставало смелости и характера. К тому же мысль о Наташе поневоле останавливала ее. Марья Сергеевна предчувствовала, что муж, узнав все, не легко отдаст ей дочь, и эта мысль сильнее всего другого мешала ей решиться. Тем не менее она все чего-то ждала, предчувствуя, что конец уже близок, что тянуть подобную лямку долго у нее не останется силы, и потому все это как-нибудь скоро кончится. Чем кончится, каким образом - все это ей представлялось как-то неясно, но что оно должно кончиться, это она хорошо осознала и предчувствовала, что конец должен наступить именно в городе...

Наконец, Павел Петрович, не понимавший промедления Марьи Сергеевны, потребовал очень решительно и даже с легким неудовольствием, чтобы переезд состоялся в начале следующей же недели. Наташа пропускала занятия, и хотя Марья Сергеевна и говорила, что ходить в гимназию девочке все равно будет нельзя, так как у нее болело горло и она кашляла, но Павел Петрович на это только поморщился. Он не любил, когда по таким, в сущности, несерьезным причинам Наташа манкировала учебой.

- Во всяком случае кашель в городе пройдет, вероятно, гораздо скорее, чем тут. У тебя, Наташа, очень болит горло? - обратился он к дочери.

Наташа немного вспыхнула, что вообще в последнее время с ней случалось очень часто во время разговоров с отцом, и, вопросительно взглянув на мать, ответила не совсем решительно:

- Не очень, папа... Но... болит...

Павел Петрович слегка пожал плечами.

- Ну, вот видишь! Значит, задерживать это не может. Я бы ничего не имел против того, чтобы вы оставались на даче подольше, если бы погода была хороша. Но теперь... Итак, решено: я вас жду не позже среды. Трех дней достаточно для сборов. И к тому же... К тому же, моя дорогая, я так долго был лишен твоего и Наташиного общества, что буду очень рад очутиться в нем снова, чем скорее, тем лучше! - прибавил он уже более нежно, целуя руку жены.

Марья Сергеевна молчала и хотя не отнимала у мужа своей руки, но он заметил, что в ее лице было что-то угрюмое и недовольное, невольно удивлявшее его.

**XX** Наконец переехали в город. Дни стояли такие сумрачные, холодные и дождливые, что напоминали глубокую осень, и под влиянием погоды Марье Сергеевне в своих уютных и так любимых прежде комнатах казалось теперь еще мрачнее. В прежние годы, тотчас по переезде с дачи, она всегда с особенною любовью и заботливостью принималась за уборку своей квартиры "по-зимнему". Теперь же, чувствуя себя словно на бивуаках, она следила за всем этим апатично и нехотя.

- К чему?.. - спрашивала она себя. - Не все ли равно?

Первое время Павел Петрович ни в жене, ни в начавшейся с ее переездом домашней жизни не замечал ничего особенного. Наташа все так же ходила в гимназию, он все так же ездил каждый день на службу. Работы в его отсутствие накопилось так много, что ему приходилось заниматься даже и по вечерам, и потому, при всем его желании проводить с женой побольше времени, он не мог этого делать, зарабатываясь или в министерстве, или в своем кабинете. Но, приходя порой в комнату жены посидеть с ней немного, и приглядываясь к ней, он находил ее если и не странною, то, во всяком случае, словно какою-то больною.

Павел Петрович замечал, что Марья Сергеевна похудела, осунулась, как будто втайне о чем-то переживала, но приписывал это ее немного болезненному состоянию и скверной осенней погоде, всегда дурно действовавшей на нее.

Наташа больше удивляла его. Она не приходила, как в прошлые зимы, заниматься по вечерам в его кабинет, не читала ему газет и докладов, не болтала с ним о своих делах и гимназии, даже, видимо, не интересовалась больше его службой. Порой ему казалось даже, что она почему-то стесняется и нарочно избегает его. Это и удивляло, и огорчало Павла Петровича. Не зная, чему приписать подобную перемену, он не раз хотел поговорить с ней, но множество дел и занятий все мешали ему, не оставляя почти свободной минуты, и он мысленно решил отложить объяснение до тех пор, пока он ясно убедится, что перемена в ней действительно произошла, а не кажется лишь ему.

Наташа видела, что отец замечает ее странное поведение и огорчается им. И когда ей приходило в голову, что он, быть может, думает, будто она чуждается его потому, что разлюбила его, ей делалось так больно и так мучительно жалко и его, и себя, что готова была со слезами броситься к нему на шею и уверить, что она не только не переставала любить его, но любит даже больше и горячее, чем когда бы то ни было. И боясь невольно это сделать, она нарочно старалась избегать его.

Страстно любя, но в то же время страстно ревнуя мать, она с мучительной тоской наблюдала за ней все лето. Она подмечала каждое ее слово, каждый влюбленный взгляд, брошенный на Вабельского, вслушивалась даже в ее голос, звучавший в разговоре с ним особенно мягко и нежно. И, ревнивым чутьем угадывая силу любви матери к Вабельскому, оскорблялась ею, не будучи в состоянии понять - как ее мать может любить чужого человека больше, чем ее, Наташу. Порой чувство этого оскорбления и обиды доводило ее до негодования на мать и ожесточения против Вабельского. Иногда она, точно желая разбередить свою боль, мысленно пред-

ставляла себе этого ненавистного ей человека наедине с матерью, и тогда, под гнетом мучительного стыда и ревности, не желая делить ее любовь с этим человеком, делалась к Марье Сергеевне еще холоднее, еще дальше отходила от нее.

Веселый вид Марьи Сергеевны и счастье, написанное на ее лице, которое порой она не могла скрыть, еще больше возмущали девочку. Иногда, видя, что Марья Сергеевна одевается с особенным старанием, Наташа следила за ней, думая: "Это для него!", и с гордым презрением окидывала взглядом нарядный и изящный туалет матери, надевавшийся ею для ее врага.

Еще год тому назад на этой же самой даче Наташа часто бегала и шалила, как настоящий ребенок; теперь же она почти целыми днями сидела одна у себя в комнате, сумрачная и серьезная, как старая женщина, и мучила сама себя, вечно думая о матери и о "нем". Так же, как и Марья Сергеевна, Наташа вдруг стала дичиться всех знакомых и подруг, находя во всех что-то подозрительное и презрительное по отношению к себе. Ей казалось, что "про маму знают все", и потому, когда кто-нибудь из встречавшихся ей иногда знакомых спрашивал у нее что-нибудь о Марье Сергеевне, она смущалась и конфузилась, не зная, что сказать и как ответить. Даже в самом простом вопросе ей чудились какие-то странные недоговоренные намеки, одно предположение о которых заставляло ее мучительно вспыхивать.

В этих постоянных переходах от ревности к озлоблению и от ненависти к страстной любви для Наташи протянулось все длинное лето, - вплоть до того дня, когда Марья Сергеевна, получив от мужа телеграмму, вошла с нею в комнату дочери. В ту минуту, когда Наташа взглянула в измученное и точно сразу постаревшее лицо матери, она впервые почувствовала к ней, кроме жгучей ревности, что-то иное, более теплое и нежное. Когда же Марья Сергеевна, обняв ее и положив голову ей на грудь, вдруг заплакала, в душе Наташи начался какой-то перелом. Она вдруг начала понимать, что ее бедная мать, кроме того, что виновата, в то же время еще и глубоко несчастлива, чего до сих пор она, Наташа, не хотела заметить и понять. И ей вдруг сделалось так больно за мать и стыдно оттого, что раньше не хотела понимать ее горя, а только мучила ее еще сильнее своею ревностью и отчуждением, и Наташа заплакала вместе с ней, как бы утешая ее своим сочувствием. Когда же Марья Сергеевна ушла, вызванная Вабельским, Наташа уже не почувствовала ни озлобления, ни ревности. Она не думала больше ни о нем, ни о любви к нему матери, а думала только, что она страдает и мучается, и за это страдание не только прощала ей все, но и чувствовала себя перед ней бесконечно виноватою.

С этих пор в ее душе настало какое-то странное смятение. Однажды поняв страдание и горе матери, она не могла уже не жалеть ее. Но, в то же время, ей так же мучительно жалко было отца. И перед ним она чувствовала какую-то страшную вину не только за мать, но как будто даже и за себя. Как тогда она почувствовала себя виноватою перед матерью в том, что не понимала ее горя и была с ней холодна и горда, так теперь, сознавая какой-то ужасный и отвратительный обман, она чувствовала себя виноватою перед отцом, но только еще гораздо больше виной, чем перед матерью. Ей казалось, что и она также, вместе с матерью и Вабельским, как-то отвратительно и ужасно обманывает его.

Часто, не умея понять, что она должна делать, как может помочь их страшному горю, она начинала горячо молиться, повторяя в слезах: "Господи, помоги им, помоги им, Господи..."

Но все, что она чувствовала наедине с собой, она почему-то старательно скрывала от них, особенно от отца. Она инстинктивно понимала, что отец не должен ничего знать, что если он узнает, это будет еще ужаснее и для него, и для матери. И она следила за каждым своим словом, движением, даже взглядом, ежеминутно боясь как-нибудь проговориться и одним неосторожным намеком открыть ему то, что так старательно скрывала. Вот почему Наташа избегала отца, говорила с ним только о самом необходимом и, порой встречаясь с его удивленным взглядом, вспыхивала и, чувствуя на душе стыд, слезы и жалость, смущенно опускала глаза, точно боясь, что они выдадут ее помимо воли.

**XXI** Марья Сергеевна видела эту новую перемену в дочери и, как бы из благодарности, ласкала ее горячее и больше, чем летом. Но чувство неловкости все-таки не проходило и порой делало ее даже раздражительною. Эта странная болезненная раздражительность начинала проявляться все чаще, и причина становилась с каждым днем все понятнее и яснее. Ее предположение о беременности перешло уже в уверенность, не оставляя больше никаких сомнений.

Видеться с Вабельским, как она и ожидала, стало теперь гораздо труднее, чем на даче. Каждый раз она должна была лгать, придумывать разные предлоги, бояться подозрений и выслеживаний. Прежде она очень часто выезжала из дому, и ни на одно мгновение ей не приходило в голову, что мужу это может показаться странным. Теперь же ей казалось, что все подо-

зревают ее и следят за нею, и, уходя порой даже и не к Вабельскому, она боялась вызвать подозрение в том, что идет именно к нему. Все это мучило и раздражало еще сильнее. Она устала лгать, притворяться и пребывать в вечном страхе, что каждую минуту все может открыться.

В одно из свиданий с Вабельским она пришла к нему в каком-то сдержанном волнении, в ее побледневшем лице было что-то новое, строгое.

- Я решила, - сказала она спокойным, немного глухим голосом. - Я сегодня же скажу ему все... И мы разойдемся. Дальше так нельзя. Это слишком отвратительно, безобразно. Я больше не могу. Мне стыдно. Мне гадко...

- Ну и прекрасно. Чего же волноваться-то?

Вабельский не особенно удивился ее решению. Он предчувствовал его давно и, к своему собственному удивлению, не только не был в душе против, но даже, скорее, отчасти был доволен подобным поворотом. Виктору Алексеичу надоели и слезы, и сцены, а между тем разорвать эту связь и тем прекратить все эти истории не хотелось. Он чувствовал, что привык к ней более, нежели бы ему хотелось. К тому же беременность Марьи Сергеевны поневоле осложняла вопрос. До сих пор у Вабельского не было детей, и ожидание этого ребенка от Марьи Сергеевны если и не радовало его, то, во всяком случае, как-то странно занимало и интересовало.

"Это, пожалуй, даже и лучше, если она разойдется со своим муженьком и переедет от него, - думал он. - Начать с того, что тогда будет и свободнее, и безопаснее. Раз дело с ним будет покончено, то и мешать он не будет иметь права".

Но, допуская разрыв Марьи Сергеевны с мужем, он не желал допустить мысли, что их отношения вследствие этого могут сделаться вечными. Более свободными - да, но вечными - ни под каким видом! Ребенок, конечно, отчасти мог более скрепить их, но и то не навсегда.

Одно время его смущало все это в материальном смысле. Лично его дела были все еще не в блистательном положении; предшествующие годы он жил слишком широко и потому немного запутался. Но оказалось, что у Марьи Сергеевны было своих пятьдесят тысяч, полученных ею в приданое после отца. Расспрашивая ее подробнее об этих деньгах, Виктор Алексеич узнал, что они положены лично на ее имя и что муж никогда из них ни копейки не требовал и даже проценты с них предоставлял в ее личное распоряжение.

Вабельский никогда не жалел денег на женщин. Но содержать всецело жену или любовницу с правами жены казалось ему всегда страшно дорого и трудно, и он решил избегать подобной возможности. Хотя траты его на актрис и кокеток обходились вдвое дороже. И потому он был очень доволен самостоятельными средствами Марьи Сергеевны. Все это вместе заставляло его если не желать и не вполне одобрять ее разезд с мужем, то, во всяком случае, и не иметь ничего против. И хотя раньше он еще колебался и взвешивал все "за" и "против", заставляя ее под разными предлогами откладывать это решение, то теперь, когда она так категорически объявила ему, что дальше выносить эту пытку не в состоянии и что сегодня же объяснится с мужем, он ничего не возразил ей и только слегка пожал плечами:

- Как хочешь, милая. Ты знаешь мое мнение: я ничего не имею против, если ты непременно желаешь этого. - И, пересилив легкое раздражение, он взял ее руку и проговорил, целуя: - Так я приищу тебе квартиру... комнаты три-четыре. Больше тебе не надо.

Она тихо кивнула головой, но продолжала сидеть угрюмо и сумрачно. Что-то было оскорблено в ней. Его тон коробил ее. Ей хотелось услышать от него в ответ на свое решение что-то другое - более радостное, нежное. В его словах она инстинктивно чувствовала недостаток любви, и это задевало и пугало ее. Но гордость не позволяла ей высказать это, и мысленно она даже успокаивала себя: просто она расстроена, оттого и кажется все так скверно. Стараясь заглушить в себе безотчетное недовольство, она начала советоваться с ним насчет квартиры и дальнейших планов.

Виктор Алексеич, со своей стороны, желал только одного: чтобы все эти объяснения и решения происходили без него. Он едва знал Павла Петровича, лишь изредка встречая его в обществе, и мысль о переговорах с ним по такому вопросу была ему очень неприятна. Раз уж Марья Сергеевна непременно желает заварить всю эту кашу, пусть по крайней мере не вмешивает его. И он старался дать ей это понять и научить ее действовать так, чтобы все прошло благополучно и согласно его желаниям.

Марья Сергеевна просидела у него дольше обычного и опоздала домой к обеду.

Павел Петрович привык обедать ровно в половине шестого. В пять он уезжал из присутствия, а в четверть шестого был дома. На этот раз его немного задержали в министерстве; он

приехал почти двадцатью минутами позднее обыкновенного и, избегая поспешно по лестнице, думал, что Марья Сергеевна уже ждет его в столовой. Но оказалось, что Марья Сергеевна вовсе не было дома. Это немного удивило Павла Петровича; он любил, чтобы к обеду все были в сборе, и поступаться своими привычками ему было неприятно даже в мелочах.

Узнав, что жена еще не возвращалась, он прошел прямо к себе в кабинет, уже немного расстроенный и удивленный этим, и ждал там до половины седьмого. Сестра за стол без жены ему было крайне неприятно, но ждать дольше он не мог, так как к семи часам к нему должен был приехать по делам министерства один из его чиновников. Войдя в столовую, он спокойно поцеловал дочь, отодвинул стул и сел, развернув привычным жестом свою салфетку. Но взволнованная и слегка испуганная Наташа заметила, что в душе он недоволен и сердится.

Придя из гимназии, она застала мать уже на лестнице, и по тому, как та была одета, и по внутреннему своему чутью, замечательно развившемуся в ней в последнее время, поняла, что мать идет к "нему".

Каждый раз, видя, что мать уезжает к Вабельскому, Наташа страшно волновалась и успокаивалась только тогда, когда та возвращалась. Она сознавала, что мать делает что-то "ужасное", уходя к нему, и боязнь, что отец узнает про это, мучила ее. Сегодня же, зная, что Марья Сергеевна еще не вернулась, тогда как отец уже был дома, она волновалась еще больше. Почти все время простояла у окна своей комнаты, тревожно вглядываясь в каждую проезжавшую мимо женщину, с нетерпением поджидая звонка. Но когда ее позвали обедать, не дождавшись возвращения Марьи Сергеевны, Наташа с тяжелым предчувствием чего-то грозного и уже близкого пришла в столовую, всеми силами стараясь не выказать отцу своим волнением чего-нибудь подозрительного.

- Ты не знаешь, где мама? - спросил, наконец, Павел Петрович внешне совсем спокойно.

Наташа на миг подняла на него испуганные глаза.

- Она, кажется, у tante Софи, - проговорила она с легкой дрожью в голосе, мучительно краснея от своей лжи.

Павел Петрович не хотел предполагать ничего дурного в поступках жены, но не замечать чего-то странного и в ней, и в Наташе он, при всем своем желании больше не мог. И это "новое", показавшееся ему сначала легким нездоровьем жены, не только не казалось ему таковым теперь, но уже тревожило и пугало его. Если бы он наблюдал, то мог бы еще яснее убедиться, что в странностях его семьи кроется что-то очень серьезное. Но Павел Петрович вовсе не желал подобного убеждения. Боялся его. Он так привык к прочности своего счастья, ход его жизни так прочно встал в наезженную, раз и навсегда известную колею, что выбиться из нее казалось ему чем-то невозможным и невероятным, чего с ним никогда не могло случиться. Несмотря на все эти логичные рассуждения, порой, когда он повнимательнее приглядывался к жене, его вдруг охватывала невольная боязнь, какое-то тяжелое предчувствие. И если в большинстве случаев он скоро овладевал собою и своими расшатавшимися, как он думал, нервами, то теперь, в те минуты, что он провел у себя в кабинете, и тут в столовой, в ожидании жены, эта тоска, боязнь и предчувствие охватили его с большею силой, чем когда-нибудь.

Около семи часов раздался звонок. И Наташа, и Павел Петрович вздрогнули, и на мгновение вскинули друг на друга тревожный взгляд.

Марье Сергеевне нужно было пройти к себе в комнату через столовую. Проходя мимо мужа и дочери, она кивнула им головой и спокойно проговорила:

- Вы уже обедаете... Я запоздала...

Павел Петрович ничего не сумел ответить. Взглянув на ее побледневшее, с каким-то странным выражением лицо, он не только не почувствовал облегчения, но его опасения еще усилились. Он молча, поспешно доканчивал свой обед, спеша уйти к себе в кабинет и отвлечься от своих личных мыслей и чувств за официальными делами.

Наташа тревожно прислушивалась к шагам и голосу матери, долетавшим из будуара Марьи Сергеевны, и временами искоса поглядывала на отца. Лицо матери резануло её острой болью. Низко наклонясь над тарелкой, она чувствовала в душе такой страх чего-то не совсем ясного, боль и тоску, что готова была заплакать по-детски - как плакала, бывало, еще несколько лет тому назад, ребенком, когда чего-нибудь пугалась.

Отец с дочерью тотчас после обеда разошлись по своим комнатам. Проходя к себе через будуар Марьи Сергеевны, Наташа подошла к ней и молча поцеловала ее, как всегда это делала после обеда. Марья Сергеевна ответила на ее поцелуй рассеянно, видимо, думая о чем-то другом, и, когда дочь ушла, она еще долго ходила по своему кабинету взволнованною походкой. У Павла Петровича сидел чиновник из министерства, и Марья Сергеевна с мучительным,

тяжелым нетерпением поджидала его ухода. Она сама не могла решить, хочет ли она приблизить минуту объяснения или, инстинктивно боясь ее, рада этому невольному промедлению, вследствие которого "конец", так страстно желаемый ею и так мучительно пугающий ее, откладывался еще на лишний час.

Наконец чиновник ушел. Голоса в кабинете затихли. Марья Сергеевна остановилась на минуту около своего туалета. "Идти?" - мысленно спросила она себя, и страх, тоска и боль, испытываемые ею все время, вдруг охватили ее еще мучительнее. И сердце ее забило так нервно и часто, что ей было даже больно от его сильных ударов.

Она сделала несколько шагов, но тотчас же остановилась, почувствовав какую-то дрожь в ногах и даже легкое головокружение. Она снова опустилась в кресло, и в эту минуту ей вдруг показалось, что это объяснение совсем не нужно, что будет гораздо лучше, если все останется так, как было до сих пор. То, что должно было начаться сразу же за этим объяснением, представлялось ей теперь таким ужасным, что она не решилась добровольно пойти на это.

- Не надо... Не надо... - проговорила она машинально, думая о том, что не надо идти к мужу. И на мгновение по лицу ее скользнула даже улыбка - та улыбка, которая невольно появляется у человека, когда он видит, что страшная опасность, грозившая ему, вдруг отошла... миновала его.

Но это длилось только мгновение. Через минуту она опять "почувствовала", что идти надо. И надо сейчас же. Чтобы решить все сразу, и не мучиться больше в этой неизвестности. «И потом... ведь я... беременна... Значит, не идти - только отложить. А рано ли, поздно ли, но сказать нужно». Она вдруг рванула колокольчик и несколько раз нетерпеливо позвонила.

- Барин один? - спросила она у вошедшей на зов Фени, и тут же подумала: "Зачем же я спрашиваю... Ведь я же знаю, что он один! Отсрочиваю только, обманываю себя".

- Один-с.

- Да! Ну, хорошо... Идите, мне больше ничего не надо.

Феня вышла. А Марья Сергеевна, прислушиваясь к ее затихающим в дальнем коридоре шагам, вдруг сразу вся как-то рванулась и быстрыми, не колеблющимися уже больше шагами пошла к кабинету мужа.

*Продолжение следует...*

**М.В. Крестовская.**

*Она была настолько красивая,  
что у меня невольно сжался бумажник.*



**В родном краю** - я на краю  
Стою... обрыва,  
Внизу прибой шумит волной  
Неторопливо.

Светло горят, пленяя взгляд,  
На небе звёзды.  
И счастье есть их видеть здесь  
Сквозь мрака вёрсты.

Как хорошо, прильнув душой,  
О них согреться, -  
Когда беда, и никуда  
От зла не деться!

Когда друзья, как не друзья,  
И все чужие.  
И никому сказать нельзя  
Слова простые.

Пусть тридцать лет, и проку нет  
От жизни этой!  
Пусть на краю, и песнь мою  
Считают спетой!

Я не боюсь, что оступлюсь -  
И свято верю,  
Что я шагнуть на Млечный Путь  
С земли сумею.

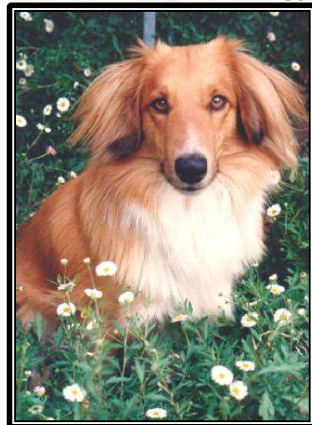
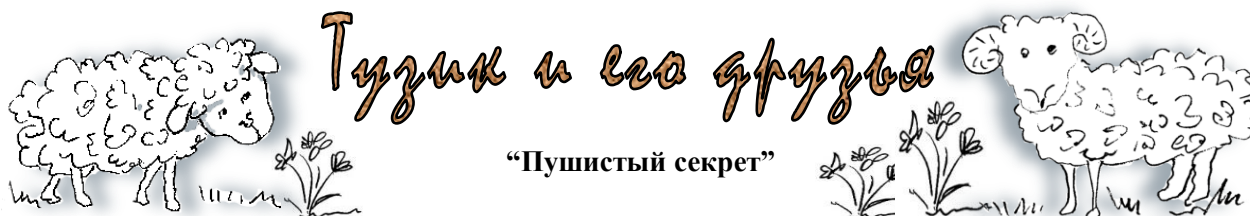
Ну а случись сорваться вниз -  
Пока не поздно -  
Хотя бы шаг пройду сквозь мрак  
Навстречу звёздам.

**Павел Грызлов. Россия.**



*Мудрости не учишься у других, к ней приходишь сам,  
вставая на ноги после каждого нового удара судьбы.*





В этом году зима на Шумном Дворе особенно холодная. Даже цветы, - а они в Австралии цветут почти всё время, - даже цветы не торопились открывать свои яркие личики и прятались от холодного ветра.

Мама-Иголочка решила связать детям шерстяные безрукавки, ведь гномики могут простудиться и тогда будут долго чихать и кашлять.

Бублик смотрел, смотрел, как мама-Иголочка ловко вяжет на спицах, а потом спросил:

- Откуда берётся шерсть? Да ещё такая длинная...

- Вот глупыш! - важным голосом сказал Говорилка. - Шерсть растёт на дереве.

Мама-Иголочка рассмеялась. А дедушка-Помахайкин посмотрел на внучат и сказал:

- Пора детишек взять на ферму. Пусть посмотрят - откуда берётся шерсть...

На ферму поехали все; даже Тузик с Матильдой Леопольдовной отправились; и Базлан полетел. Сороки обещали вести себя прилично, поэтому их тоже взяли с собой.

И вот, Бублик с Говорилкой на ферме. Вокруг только и слышно - «Бе-е-е, бе-е-е...»

- Это овцы так разговаривают, - сказал дедушка-Помахайкин.

- А ещё - это ваши «безрукавки» бегают... - добавила мама-Иголочка.

- Это как??? - выпучили глаза гномики.

- А вот так, - сказал добрый дедушка: - овечки - точно ворох шерсти на ножках. Потому что на каждой овечке растёт шерсть - этакая шубка. Когда шерсть становится слишком длинной, она овечке мешает, и тогда эту шерсть надо аккуратненько срезать. А потом...

На телеге стояла большая корзина с шерстью. Дедушка-Помахайкин подошёл и взял пушистый клочок. Немного расчесал его пальцами, покрутил и...

- Смотрите: получилась нитка, - сказал добрый дедушка. - Вот из такой нитки - только толще и длиннее - мама-Иголочка связала вам на спицах...

- Бе-е-е... Безрукавочки связала! - вдруг подала голос овечка, что стояла неподалёку.

Гномики оглянулись, и увидели маму-Овечку, и рядом с ней - маленького барашка.

Малышам очень понравился барашек.

- Какой красивый барашек! - захолопал в ладошки Говорилка.

- Весь беленький, мягонький! - радостно прыгает Бублик.

Говорилка хотел подойти и осторожно погладить барашка. Бублик тоже протянул руку...

- Бе-е-е, - испуганно отскочила в сторону мама-Овечка.

- Нет, нет, шалуны, так нельзя: - сказала мама-Иголочка, - овечки очень пугливые, сразу убегают. Барашки - тем более, от мамы не отходят.

- А можно взять барашка домой на Шумный Двор?

- Бе-е-е, - заблеял жалобно барашек: - я ещё очень маленький и без мамы никуда не хожу. Он тоже испуганно отскочил в сторону и прижался к маме-Овечке.

- Ну, хорошо, тогда я угощу тебя бубликом, - сказал Бублик и протянул барашку самый вкусный кусочек.

- Бе-е-е, - опять сказала мама-Овечка. - Вы нас извините, но барашки не едят бублики; они только щиплют травку.

Гномики посмотрели на дедушку-Помахайкина: что делать?

- Не горюйте, малыши, - сказал добрый дедушка. - Шумный Двор - это не ферма, и у нас мало травки для овец. Зато у мамы-Иголочки на грядке растут цветы. И что будет, если барашек эти цветочки съест? Ведь, мама-Иголочка расстроится...

Гномики часто заморгали. У Бублика даже глаза покраснели - вот-вот заплачет. Он даже не заметил, что раскрошил весь бублик.

Крошки упали на траву. Базлан забеспокоился: если налетят сороки и поднимут из-за крошек драку, то ещё больше испугают барашка.

Дедушка-Помахайкин погладил внучат по головкам:

- А вы, шалуны, сами подумайте: разве можно забирать маленьких деток от мамы?! Хорошо это?! А барашек - ведь он тоже детка... лохматая, беленькая детка. И мама-Овечка без него будет очень скучать.

Гномики вздохнули.

- Мама-Иголочка без нас тоже скучала бы, - согласился Говорилка.

- Мы бы тоже не захотели остаться без мамочки, - сказал Бублик. - Ничего не поделывать, пусть барашек остаётся с мамой-Овечкой...

Услышав эти слова, мама-Овечка сразу перестала гномиков бояться. Она подошла - и ткнулась головой в ладошки малышкой. Следом подошёл барашек.

- Бе-е-е, - сказал он, - не плачьте. Вот я немного подрасту, и сам приду в гости.

- А пока, - сказала мама-Овечка, - вот вам подарок: сделайте себе игрушку! - С этими словами она подошла к большой корзине и дала Бублику и Говорилке немного шерсти.

Матильда Леопольдовна тут же скатала из шерсти маленький шарик, - это будет голова игрушки. Тузик скатал второй комочек, побольше - получилась спинка игрушки Сороки принесли четыре веточки, чтобы сделать ножки. Наконец всё готово - получился игрушечный барашек...

И вдруг произошло что-то непонятное: игрушечный барашек чихнул. По-настоящему. Потом переступил с одной ножки на другую, сделал шаг-другой - и сказал "Бе-е-е"...

Гномики переглянулись:

- Бублик, это нам только показалось? - шёпотом спросил Говорилка.

- Кажется, наш игрушечный барашек живо-о-ой? - выпучил глаза братишка.

В это время игрушка опять сказала "Бе-е-е". Малыши рассмеялись и осторожно её поцеловали. Потом сказали маме-Овечке спасибо, погладили на прощанье её детку - настоящего барашка, и пошли домой.

Дома поставили игрушку на травку под Леопардом. Весь Шумный Двор собрался посмотреть на пушистый подарок.

Рябушки стоят, любуются: славная игрушка! Базлан не кричит; даже сороки притихли.

- А вдруг пойдёт дождь? - забеспокоился Тузик. - Игрушка промокнет...

- Тогда ей станет очень грустно, - сказала Матильда Леопольдовна.

- Правильно, - согласилась мама-Иголочка. - Лучше поставим игрушечного барашка на окно - возле детской кроватки: пускай смотрит во двор и радуется...

Бублик и Говорилка играли весь день. Вечером пошли спать.

А утром на подоконнике послышался тоненький голосок - "Бе-е-е"... Малыши разом подскочили и начали тереть глаза: так и есть, игрушка «живая»!

Бублик и Говорилка быстро оделись, умылись и побежали в кухню завтракать.

- Что за чудеса? - удивилась мама-Иголочка: - мои засоньки сами рано встали...

Гномики переглянулись, и рассмеялись: это же игрушечный барашек их разбудил.

Но это секрет. Самый первый, настоящий, пушистый секрет гномиков.



## СОДЕРЖАНИЕ (№ 67)

Троицино утро (стих. В. Белькович)	1
Пробиралась весна... (стих. прот. В. Мазур)	1
Вселенная пропитана стихами... (стих. В.К. Невярович)	1
Для чего нужна поэзия (очерк, С.И. Скорик)	2
Есть глаза у цветов (стих. Расул Гамзатов)	3
Молодёжная культурка... (статья, В.Д. Ирзабеков)	4
«Родной Карелии красоты» - А. Лазутин: поэзия	
Водопад «Кивач»; Янтарная власть; Мои цветы;	7
Дожди; Ветер; В белые ночи ладные трели; Мечты	8
Не читал, но издавал (статья, Юр. Евстифеев)	9
Что-то ветер в поле... (стих. Э. Ковишевный)	13
Я и ты... (стих. П. Грызлов)	13
Малиновая вода (рассказ, И.С. Тургенев)	14
Дождь барабанил... (стих. С. Тишкина)	18
Женщина под зонтиком (стих. О. Походня)	18
Власть Музы (стих. Т.Н. Малеевская)	18
О связанности людей в добре и зле (статья, Ильин)	19
Студент (рассказ, А.П. Чехов)	24
Мой отчий дом... (стих. Ген. Головин)	25
Золотое дно (рассказ, И. Бунин)	26
Троица (стих. Albina Yanko)	29
Июль (стих. А. Гушан)	29
Память (стих. И. Журавлёва)	29
Скрипка Ротшильда (рассказ, А.П. Чехов)	30
Последняя ласточка (стих. А. Гушан)	34
Пора цветения (стих. И. Журавлева)	34
Его нежность (рассказ, С. Криворотов)	35
Башня (миниат. А. Смирнов)	36
Прощальное письмо (стих. А. Скворцов)	36
Письма читателей	37
Сирень (стих. В. Колабухин)	37
Саломея (роман, А.Ф. Вельтман)	38
Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская)	46
В родном краю... (стих. П. Грызлов)	54
Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора)	55

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - 0404-559-294. А также в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, а также у следующих лиц:

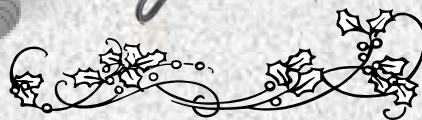
Э.И. Городилова (02) 9727-69-87

З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – работы Т. Малеевской (Попковой).



**Т. Малеевская**  
«Страна отцов»  
«Серебряный город»  
«Душенька»:  
А также книга  
**В.А. Малеевского** «Претенденты на  
Российский Престол»  
За справками обращаться:  
**(07) 3161-49-27**  
или  
tamaleevpearl@gmail.com



**Литературный кружок  
«Жемчужное Слово»**  
<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>



**Сайты связанные с журналом  
«Жемчужина»**

\* Электронная версия журнала «Жемчужина»  
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

\* Новый сайт «Русское Зарубежье», посв. Харбинцам  
и послевоенным эмигрантам из Европы –  
<http://russkojezarubezhje.yolasite.com>

Также личный сайт автора - [tamaleevwriting.yolasite.com](http://tamaleevwriting.yolasite.com)

